

Литрес ≡ Классика

Максим Горький

ДЕЛО  
АРТАМОНОВЫХ



# Максим Горький

## Дело Артамоновых

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=73975952](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=73975952)*

*Дело Артамоновых / Максим Горький: Литрес Классика; Москва; 2026*

### Аннотация

«Дело Артамоновых» – непростая история жизни трех поколений семьи фабрикантов. Это история русского капитализма, история того, как положение «хозяев жизни» уродует и духовно губит людей, превращает их из хозяев «дела» в его рабов.

# Содержание

I	5
Конец ознакомительного фрагмента.	104

# Максим Горький

## Дело Артамоновых

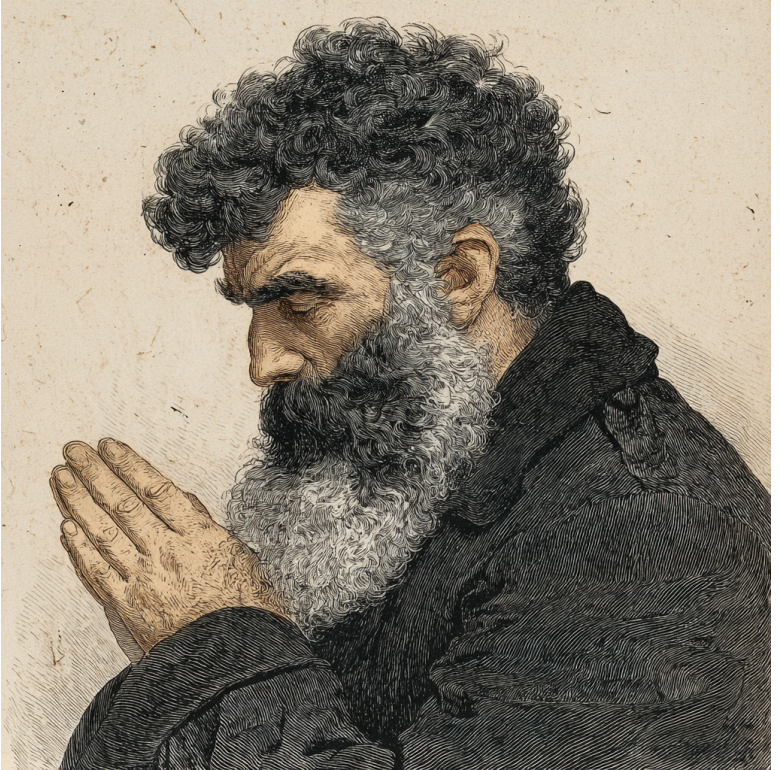
*Ромэну Роллану  
человеку, поэту*

# ЛитРес

## библиотека

© «Литрес», 2026

# I



Года через два после воли<sup>1</sup>, за обедней в день преобразования господня<sup>2</sup>, прихожане церкви Николы на Тычке заметили «чужого», – ходил он в тесноте людей, невежливо поталкивая их, и ставил богатые свечи пред иконами, наиболее чтимыми в городе Дрёмове. Мужчина могучий, с большою, колечками, бородой, сильно тронутой проседью, в плотной шапке черноватых, по-цыгански курчавых волос, носище крупный, из-под бугристых, густых бровей дерзко смотрят серые, с голубинкой, глаза, и было отмечено, что когда он опускал руки, широкие ладони его касались колен.

Ко кресту он подошёл в ряду именитых горожан; это особенно не понравилось им, и, когда обедня отошла, виднейшие люди Дрёмова остановились на паперти поделиться мыслями о чужом человеке. Одни говорили – прасол<sup>3</sup>, другие – бурмистр<sup>4</sup>, а городской староста Евсей Баймаков, миролюбивый человек плохого здоровья, но хорошего сердца, сказал, тихонько покашливая:

– Уповательно – из дворовых людей, егерь или что другое по части барских забав.

А суконщик Помялов, по прозвищу Вдовый Таракан, суетливый сластолюбец, любитель злых слов, человек рябой, и безобразный, недоброжелательно выговорил:

---

<sup>1</sup> т. е. после отмены крепостного права в 1861 г. – *Ред.*

<sup>2</sup> 6 августа по ст. стилю, т.ж. яблочный спас – *Ред.*

<sup>3</sup> мясник – *Ред.*

<sup>4</sup> управляющий в имении – *Ред.*

– Видали, – лапы-те у него каковы длинны? Вон как идёт, будто это для него на всех колокольнях звонят.

Широкоплечий, носатый человек шагал вдоль улицы твёрдо, как по своей земле; одет в синюю поддёвку добротного сукна, в хорошие юфтовые<sup>5</sup> сапоги, руки сунул в карманы, локти плотно прижал к бокам. Поручив просвирне<sup>6</sup> Ерданской узнать подробно, кто этот человек, горожане разошлись, под звон колоколов, к пирогам, приглашённые Помяловым на вечерний чай в малинник к нему.

После обеда другие дрёмовцы видели неведомого человека за рекою, на «Коровьем языке», на мысу, земле князей Ратских; ходил человек в кустах тальника, меряя песчаный мыс ровными, широкими шагами, глядел из-под ладони на город, на Оку и на петлисто запутанный приток её, болотистую речку Ватаракшу<sup>7</sup>. В Дрёмове живут люди осторожные, никто из них не решился крикнуть ему, спросить: кто таков и что делает? Но всё-таки послали будочника Машку Ступу, городского шута и пьяницу; бесстыдно, при всех людях и не стесняясь женщин, Ступа снял казённые штаны, а измятый кивер<sup>8</sup> оставил на голове, перешёл илистую Ватаракшу вброд, надул свой пьяный животище, смешным, гусиным

---

<sup>5</sup> из бычьей кожи, выделанной по русскому способу, на чистом дёгте – *Ред.*

<sup>6</sup> женщина в каждом приходе, приставленная для печенья просвир; обычно вдова духовного звания – *Ред.*

<sup>7</sup> устар. негодный, неуклюжий – *Ред.*

<sup>8</sup> головной убор – *Ред.*

шагом подошёл к чужому и, для храбрости, нарочито громко спросил:

– Кто таков?

Не слышно было, как ответил ему чужой, но Ступа тотчас же возвратился к своим людям и рассказал:

– Спросил он меня: что ж ты это какой безобразный? Глазищи у него злые, похож на разбойника.

Вечером, в малиннике Помялова, просвирня Ерданская, зобатая женщина, знаменитая гадалка и мудрица, вытаращив страшные глаза, доложила лучшим людям:

– Зовут – Илья, прозвище – Артамонов, сказал, что хочет жить у нас для своего дела, а какое дело – не допыталась я. Приехал по дороге из Воргорода, тою же дорогой и отбыл в три часа – в четвёртом.

Так ничего особенного и не узнали об этом человеке, и было это неприятно, как будто кто-то постучал ночью в окно и скрылся, без слов предупредив о грядущей беде.

Прошло недели три, и уже почти затянуло рубец в памяти горожан, вдруг этот Артамонов явился сам-четвёрт прямо к Баймакову и сказал, как топором рубя:

– Вот тебе, Евсей Митрич, новые жители под твою умную руку. Пожалуй, помоги мне укрепиться около тебя на хорошую жизнь.

Дельно и кратко рассказал, что он человек князей Ратских из курской их вотчины на реке Рати; был у князя Георгия приказчиком, а, по воле, отошёл от него, награждён хорошо

и решил своё дело ставить: фабрику полотна. Вдов, детей зовут: старшего – Пётр, горбатого – Никита, а третий – Олёшка, племянник, но – усыновлён им, Ильёй.

– Лён мужики наши мало сеют, – раздумчиво заметил Баймаков.

– Заставим сеять больше.

Голос Артамонова был густ и груб, говорил он, точно в большой барабан бил, а Баймаков всю свою жизнь ходил по земле осторожно, говорил тихо, как будто боясь разбудить кого-то страшного. Мигая ласковыми глазами печального сиреневого цвета, он смотрел на ребят Артамонова, каменно стоявших у двери; все они были очень разные: старший – похож на отца, широкогрудый, брови срослись, глаза маленькие, медвежьи, у Никиты глаза девичьи, большие и синие, как его рубаха, Алексей – кудрявый, румяный красавец, белокож, смотрит прямо и весело.

– В солдаты одного? – спросил Баймаков.

– Нет, мне дети самому нужны; квитанцию имею.

И, махнув на детей рукою, Артамонов приказал:

– Выдьте вон.

А когда они тихо, гуськом один за другим и соблюдая старшинство, вышли, он, положив на колено Баймакова тяжёлую ладонь, сказал:

– Евсей Митрич, я заодно и сватом к тебе: отдай дочь за старшего моего.

Баймаков даже испугался, привскочил на скамье, замахал

руками.

– Что ты, бог с тобой! Я тебя впервые вижу, кто ты есть – не знаю, а ты – эго! Дочь у меня одна, замуж ей рано, да ты и не видал её, не знаешь – какова... Что ты?

Но Артамонов, усмехаясь в курчавую бороду, сказал:

– Про меня – спроси исправника, он князю моему довольно обязан, и ему князем писано, чтоб чинить мне помощь во всех делах. Худого – не услышишь, вот те порука – святые иконы. Дочь твою я знаю, я тут, у тебя в городе, всё знаю, четыре раза неприметно был, всё выпросил. Старший мой тоже здесь бывал и дочь твою видел – не беспокойся!

Чувствуя себя так, точно на него медведь навалился, Баймаков попросил гостя:

– Ты погоди...

– Недолго – могу, а долго годить – года не годятся, – строго сказал напористый человек и крикнул в окно, на двор:

– Идите, кланяйтесь хозяину.

Когда они, простясь, ушли, Баймаков, испуганно глядя на иконы, трижды перекрестился, прошептал:

– Господи – помилуй! Что за люди? Сохрани от беды.

Он поплёлся, пристукивая палкой, в сад, где, под липой, жена и дочь варили варенье. Дородная, красивая жена спросила:

– Какие это молодцы на дворе стояли, Митрич?

– Неизвестно. А где Наталья?

– За сахаром пошла в кладовку.

– За сахаром, – сумрачно повторил Баймаков, опускаясь на дерновую скамью. – Сахар. Нет, это правду говорят: от воли – большое беспокойство будет людям.

Присмотревшись к нему, жена спросила тревожно:

– Ты – что? Опять неможется?

– Душа у меня взныла. Думается – человек этот пришёл сменить меня на земле.

Жена начала утешать его.

– Полно-ко! Мало ли теперь людей из деревень в город идёт.

– То-то и есть, что идут. Я тебе покамест ничего не скажу, дай – подумаю...

Через пятеро суток Баймаков слёг в постель, а через двенадцать – умер, и его смерть положила ещё более густую тень на Артамонова с детьми. За время болезни старосты Артамонов дважды приходил к нему, они долго беседовали один на один; во второй раз Баймаков позвал жену и, устало сложив руки на груди, сказал:

– Вот – с ней говори, а я уж, видно, в земных делах не участник. Дайте – отдохну.

– Пойдём-ка со мной, Ульяна Ивановна, – приказал Артамонов и, не глядя, идёт ли хозяйка за ним, вышел из комнаты.

– Иди, Ульяна; уповательно – это судьба, – тихо посоветовал староста жене, видя, что она не решается следовать за гостем. Она была женщина умная, с характером, не подумав –

ничего не делала, а тут вышло как-то так, что через час времени она, возвратясь к мужу, сказала, смахивая слёзы движением длинных, красивых ресниц:

– Что ж, Митрич, видно, и впрямь – судьба; благослови дочь-то.

Вечером она подвела к постели мужа пышно одетую дочь, Артамонов толкнул сына, парень с девушкой, не глядя друг на друга, взялись за руки, опустили на колени, склонив головы, а Баймаков, задыхаясь, накрыл их древней, отеческой иконой в жемчугах.

– Во имя отца и сына... Господи, не оставь милостью чадо моё единое!

И строго сказал Артамонову:

– Помни, – на тебе ответ богу за дочь мою!

Тот поклонился ему, коснувшись рукою пола.

– Знаю.

И, не сказав ни слова ласки будущей снохе, почти не глядя на неё и сына, мотнул головою к двери:

– Идите.

А когда благословленные ушли, он присел на постель больного, твёрдо говоря:

– Будь покоен, всё пойдёт, как надо. Я – тридцать семь лет безнаказанно служил князьям моим, а человек – не бог, человек – не милостив, угодить ему трудно. И тебе, сватья Ульяна, хорошо будет, станешь вместо матери парням моим, а им приказано будет уважать тебя.

Баймаков слушал, молча глядя в угол, на иконы, и плакал, Ульяна тоже всхлипывала, а этот человек говорил с досадой:

– Эх, Евсей Митрич, рано ты отходишь, не сберёг себя. Мне бы ты вот как нужен, позарез!

Он шаркнул рукою поперёк бороды, вздохнул шумно.

– Знаю я дела твои: честен ты и умён достаточно, пожить бы тебе со мной годов пяток, заворотили бы мы дела, – ну – воля божья!

Ульяна жалобно крикнула:

– Что ты, ворон, каркаешь, что ты нас пугаешь? Может, ещё...

Но Артамонов встал и поклонился в пояс Баймакову, как мёртвому:

– Спасибо за доверие. Прощайте, мне надо на Оку, там барка с хозяйством пришла.

Когда он ушёл, Баймакова обиженно завывала:

– Облом деревенский, наречённой сыну невесте словечка ласкового не нашёл сказать!

Муж остановил её:

– Не ной, не тревожь меня.

И сказал, подумав:

– Ты – держись его: этот человек, уповательно, лучше наших.

Баймакова почётно хоронил весь город, духовенство всех пяти церквей. Артамоновы шли за гробом вслед за женой и дочерью усопшего; это не понравилось горожанам; горбун

Никита, шагавший сзади своих, слышал, как в толпе ворчали:

– Неизвестно кто, а сразу на первое место лезет.

Вращая круглыми глазами цвета дубовых жёлудей, Помялов нашептывал:

– И Евсей, покойник, и Ульяна – люди осторожные, зря они ничего не делали, стало быть, тут есть тайность, стало быть, соблазнил их чем-то коршун этот, иначе они с ним разве породнились бы?

– Да-а, тёмное дело.

– Я и говорю – тёмное. Наверно – фальшивые деньги. А ведь каким будто праведником жил Баймаков-то, а?

Никита слушал, склоня голову, и выгибал горб, как бы ожидая удара. День был ветреный, ветер дул вслед толпе, и пыль, поднятая сотнями ног, дымным облаком неслась вслед за людьми, густо припудривая намащенные волосы обнажённых голов. Кто-то сказал:

– Гляди, как Артамонова нашей пылью наперчило, – посерел, цыган...

На десятый день после похорон мужа Ульяна Баймакова с дочерью ушла в монастырь, а дом свой сдала Артамонову. Его и детей точно вихрем крутило, с утра до вечера они мелькали у всех на глазах, быстро шагая по всем улицам, торопливо крестясь на церкви; отец был шумен и неистов, старший сын угрюм, молчалив и, видимо, робок или застенчив, красавец Олёшка – задорен с парнями и дерзко подмигивал де-

вицам, а Никита с восходом солнца уносил острый горб свой за реку, на «Коровий язык», куда грачами слетелись плотники, каменщики, возводя там длинную кирпичную казарму и в стороне от неё, под Окою, двухэтажный большой дом из двенадцативершковых брёвен, – дом, похожий на тюрьму. Вечерами жители Дрёмова, собравшись на берегу Ватаракши, грызли семена тыквы и подсолнуха, слушали храп и визг пил, шарканье рубанков, садкое тяпанье острых топоров и насмешливо вспоминали о бесплодности построения Вавилонской башни, а Помялов утешительно предвещал чужим людям всякие несчастья:

– Весною вода подтопит безобразные постройки эти. И – пожар может быть: плотники курят табак, а везде – стружка.

Чахоточный поп Василии вторил ему:

– На песце строят.

– Нагонят фабричных – пьянство начнётся, воровство, распутство.

Огромный, налитый жиром, раздутый во все стороны мельник и трактирщик Лука Барский хриплым басом утешал:

– Людей больше – кормиться легче. Ничего, пускай работают люди.

Очень смешил горожан Никита Артамонов; он вырубил и выкорчевал на большом квадрате кусты тальника, целые дни черпал жирный ил Ватаракши, резал торф на болоте и, подняв горб к небу, возил торф тачкой, раскладывая по песку

чёрными кучками.

– Огород затевает, – догадались горожане. – Экой дурак!  
Разве песок удобрить?

На закате солнца, когда Артамоновы гуськом, отец впереди, переходили вброд через реку и на зеленоватую воду её ложились их тени, Помялов указывал:

– Смотрите, смотрите, – стень-то какая у горбатого!

И все видели, что тень Никиты, который шёл третьим, необычно трепетна и будто тяжелее длинных теней братьев его. Как-то после обильного дождя вода в реке поднялась, и горбун, запнувшись за водоросли или оступясь в яму, скрылся под водою. Все зрители на берегу отрадно захохотали, только Ольгушка Орлова, тринадцатилетняя дочь пьяницы часовщика, крикнула жалобно:

– Ой, ой – утонет!

Ей дали подзатыльник.

– Не ори зря.

Алексей, идя последним, нырнул, схватил брата, поставил на ноги, а когда они, оба мокрые, выпачканные илом, поднялись на берег, Алексей пошёл прямо на жителей, так что они расступились пред ним, и кто-то боязливо сказал:

– Ишь ты, зверёныш...

– Не любят нас, – заметил Пётр; отец, на ходу, взглянул в лицо ему:

– Дай срок – полюбят.

И обругал Никиту:

– Ты, чучело! Гляди под ноги, не смейши народ. Нам не на смех жить, барабан!

Жили Артамоновы ни с кем не знакомясь, хозяйство их вела толстая старуха, вся в чёрном, она повязывала голову чёрным платком так, что, концы его торчали рогами, говорила каким-то мятым языком, мало и непонятно, точно не русская; от неё ничего нельзя было узнать об Артамоновых.

– Монахами притворяются, разбойники...

Дознано было, что отец и старший сын часто ездят по окрестным деревням, подговаривая мужиков сеять лён. В одну из таких поездок на Илью Артамонова напали беглые солдаты, он убил одного из них кистенём, двухфунтовой гирей, привязанной к сыромятному ремню, другому проломил голову, третий убежал. Исправник похвалил Артамонова за это, а молодой священник бедного Ильинского прихода наложил эпитимью за убийство – сорок ночей простоять в церкви на молитве.

Осенними вечерами Никита читал отцу и братьям жития святых, поучения отцов церкви, но отец часто перебивал его:

– Высока премудрость эта, не достигнуть её нашему разуму. Мы – люди чернорабочие, не нам об этом думать, мы на простое дело родились. Покойник князь Юрий семь тысяч книг перечитал и до того в мысли эти углубился, что и веру в бога потерял. Все земли объездил, у всех королей принят был – знаменитый человек! А построил суконную фабрику – не пошло дело. И – что ни затевал, не мог оправдать себя.

Так всю жизнь и прожил на крестьянском хлебе.

Говоря, он произносил слова чётко, задумывался, прислушиваясь к ним, и снова поучал детей:

– Вам жить трудно будет, вы сами себе закон и защита. Я вот жил не своей волей, а – как велено. И вижу: не так надо, а поправить не могу, дело не моё, господское. Не только сделать по-своему боялся, а даже и думать не смел, как бы свой разум не спутать с господским. Слышишь, Пётр?

– Слышу.

– То-то. Понимай. Живёт человек, а будто нет его. Конечно, и ответа меньше, не сам ходишь, тобой правят. Без ответа жить легче, да – толку мало.

Иногда он говорил час и два, всё спрашивая: слушают ли дети? Сидит на печи, свесив ноги, разбирая пальцами колечки бороды, и не торопясь куёт звено за звеном цепи слов. В большой, чистой кухне тёплая темнота, за окном посвистывает вьюга, шёлково гладит стекло, или трещит в синем холоде мороз. Пётр, сидя у стола перед сальной свечою, шуршит бумагами, негромко щёлкает косточками счёт, Алексей помогает ему, Никита искусно плетёт корзины из прутьев.

– Вот – воля нам дана царём-государем. Это надо понять: в каком расчёте воля? Без расчёта и овцу из хлева не выпустишь, а тут – весь народ, тысячи тысяч, выпущен. Это значит: понял государь – с господ немного возьмёшь, они сами всё проживают. Георгий, князь, ещё до воли, сам догадался, говорил мне: подневольная работа – невыгодна. Вот и оказа-

но нам доверие для свободной работы. Теперь и солдат не двадцать пять лет ружье таскать будет, а – иди-ка, работай! Теперь всяк должен показать себя, к чему годен. Дворянству – конец подписан, теперь вы сами дворяне, – слышите?

Ульяна Баймакова прожила в монастыре почти три месяца, а когда вернулась домой, Артамонов на другой же день спросил её:

– Скоро свадьбу состроим?

Она возмутилась, сердито сверкнув глазами.

– Что ты, опомнись! Полугода не прошло со смерти отца, а ты... Али греха не знаешь?

Но Артамонов строго остановил её:

– Греха я тут, сватья, не вижу. То ли ещё господа делают, а бог терпит. У меня – нужда: Петру хозяйка требуется.

Потом он спросил: сколько у неё денег? Она ответила:

– Больше пятисот не дам за дочью!

– Дашь и больше, – уверенно и равнодушно сказал большой мужик, в упор глядя на неё. Они сидели за столом друг против друга, Артамонов – облокотясь, запустив пальцы обеих рук в густую шерсть бороды, женщина, нахмутив брови, опасливо выпрямилась. Ей было далеко за тридцать, но она казалась значительно моложе, на её сытом, румянном лице строго светились сероватые умные глаза. Артамонов встал, выпрямился.

– Красивая ты, Ульяна Ивановна.

– Ещё чего скажешь? – сердито и насмешливо спросила

она.

– Ничего не скажу.

Он ушёл неохотно, тяжело шаркая ногами, а Баймакова, глядя вслед ему и, кстати, скользнув глазами по льду зеркала, шепнула с досадой:

– Бес бородатый. Ввязался...

Чувствуя себя в опасности перед этим человеком, она пошла наверх к дочери, но Натальи не оказалось там; взглянув в окно, она увидела дочь на дворе у ворот, рядом с нею стоял Пётр. Баймакова быстро сбегала по лестнице и, стоя на крыльце, крикнула:

– Наталья – домой!

Пётр поклонился ей.

– Не порядок это, молодец хороший, без матери беседовать с девицей, чтобы впредь не было этого!

– Она мне наречённая, – напомнил Пётр.

– Всё едино; у нас свои обычаи, – сказала Баймакова, но спросила себя:

«Что это я рассердилась? Молодым, да не миловаться. Нехорошо как. Будто позавидовала дочери».

В комнате она больно дёрнула дочь за косу, всё-таки запретив ей говорить с женихом с глаза на глаз.

– Хоть он и благословенный тебе, да ещё – либо дождик, либо снег, либо – будет, либо – нет, – сурово сказала она.

Тёмная тревога мучила её мысли; через несколько дней она пошла к Ерданской погадать о будущем, – к знахарке,

зобатой, толстой, похожей на колокол, все женщины города сносили свои грехи, страхи и огорчения.

– Тут гадать не о чем, – сказала Ерданская, – я тебе, душа, прямо скажу: ты за этого человека держись. У меня не зря глаза на лоб лезут, – я людей знаю, я их проникаю, как мою колоду карт. Ты гляди, как он удачлив, все дела у него шаром катятся, наши-то мужики только злые слюни пускают от зависти к нему. Нет, душа, ты его не бойся, он не лисой живёт, а медведем.

– То-то что медведем, – согласилась вдова и, вздохнув, рассказала гадалке:

– Боюсь; с первого раза, когда он посватал дочь, – испугалась. Вдруг, как будто из тучи упал никому неизвестный и в родню полез. Разве эдак-то бывает? Помню, говорит он, а я гляжу в наглые глазищи его и на все слова дакаю, со всем соглашаюсь, словно он меня за горло взял.

– Это значит: верит он силе своей, – объяснила премудрая просвирня.

Но всё это не успокоило Баймакову, хотя знахарка, провожая её из своей тёмной комнаты, насыщенной душистым запахом лекарственных трав, сказала на прощанье:

– Помни: дураки только в сказках удачливы...

Подозрительно громко хвалила она Артамонова, так громко и много, что казалась подкупленной. А вот большая, тёмная и сухая, как солёный судак, Матрёна Барская говорила иное:

– Весь город стоном стонет, Ульяна, про тебя; как это не боишься ты этих пришлых? Ой, гляди! Недаром один парень горбат, не за мал грех родителей уродом родился...

Трудно было вдове Баймаковой, и всё чаще она поколачивала дочь, сама чувствуя, что без причины злится на неё. Она старалась как можно реже видеть постояльцев, а люди эти всё чаще становились против неё, затемняя жизнь тревогой.

Незаметно подкралась зима, сразу обрушилась на город гулками метелями, крепкими морозами, завалила улицы и дома сахарными холмами снега, надела ватные шапки на скворешни и главы церквей, заковала белым железом реки и ржавую воду болот; на льду Оки начались кулачные бои горожан с мужиками окрестных деревень. Алексей каждый праздник выходил на бой и каждый раз возвращался домой злым и битым.

Что, Олёша? – спрашивал Артамонов. – Видно, здесь бойцы ловчее наших?

Растирая кровоподтёки медной монетой или кусками льда, Алексей угрюмо отмалчивался, поблескивая ястребиными глазами, но Пётр однажды сказал:

– Алексей дерётся лихо, это его свои, городские, бьют.

Илья Артамонов, положив кулак на стол, спросил:

– За что?

– Не любят.

– Его?

– Всех нас, заедино.

Отец ударил кулаком по столу, так что свеча, выскочив из подсвечника, погасла; в темноте раздалось рычание:

– Что ты мне, словно девка, всё про любовь говоришь? Чтоб не слышал я этих слов!

Зажигая свечу, Никита тихо сказал:

– Не надо бы Олёше ходить на бои.

– Это – чтобы люди смеялись: испугался Артамонов! Ты – молчи, пономарь! Сморчок.

Изругав всех, Илья через несколько дней, за ужином, сказал ворчливо-ласково:

– Вам бы, ребята, на медведей сходить, забава хорошая! Я хаживал с князь Георгием в рязанские леса, на рогатину брали хозяев, интересно!

Воодушевясь, он рассказал несколько случаев удачной охоты и через неделю пошёл с Пётром и Алексеем в лес, убил матёрого медведя, старика. Потом пошли одни братья и подняли матку, она оборвала Алексею полушубок, оцарапала бедро, братья всё-таки одолели её и принесли в город пару медвежат, оставив убитого зверя в лесу, волкам на ужин.

– Ну, как твои Артамоновы живут? – спрашивали Баймакову горожане.

– Ничего, хорошо.

– Зимой свинья смирна, – заметил Помялов.

Вдова, не веря себе, начала чувствовать, что с некоторой поры враждебное отношение к Артамоновым обижает её, неприязнь к ним окутывает и её холодом. Она видела, что

Артамоновы живут трезво, дружно, упрямо делают своё дело и ничего худого не приметно за ними. Зорко следя за дочерью и Пётром, она убедилась, что молчаливый, коренастый парень ведёт себя не по возрасту серьёзно, не старается притиснуть Наталью в тёмном углу, щекотать её и шептать на ухо зазорные слова, как это делают городские женихи. Её несколько тревожило непонятное, сухое, но бережное и даже как будто ревнивое отношение Пётра к дочери.

«Не ласков будет муженёк».

Но однажды, спускаясь с лестницы, она услышала внизу, в сенях, голос дочери:

– Опять на медведя пойдёте?

– Собираемся. А что?

– Опасно, Алёшу-то задел зверь.

– Сам виноват – не горячись. Значит – думаете обо мне?

– Я про вас ничего не сказала.

«Ишь ты, шельма, – подумала мать, улыбаясь и вздохнув. – А он – простак».

Илья Артамонов всё настойчивее говорил ей:

– Поторопись со свадьбой, а то они сами поторопятся.

Она видела, что надо торопиться, девушка плохо спала по ночам и не могла скрыть, что её томит телесная тоска. На пасху она снова увезла её в монастырь, а через месяц, воротясь домой, увидела, что запущенный сад её хорошо прибран, дорожки выполоты, лишай с деревьев сняты, ягодник подрезан и подвязан; и всё было сделано опытной рукою.

Спускаясь по дорожке к реке, она заметила Никиту, – горбун чинил плетень, подмытый весенней водою. Из-под холщовой, длинной, ниже колен, рубахи жалобно торчали кости горба, почти скрывая большую голову, в прямых, светлых волосах; чтоб волосы не падали на лицо, Никита повязал их веткой берёзы. Серый среди сочно-зелёной листвы, он был похож на старичка-отшельника, самозабвенно увлечённого работой; взмахивая серебряным на солнце топором, он ловко затёсывал кол и тихонько напевал, тонким голосом девушки, что-то церковное. За плетнём зеленовато блестела шёлковая вода, золотые отблески солнца карасями играли в ней.

– Бог в помощь, – неожиданно для себя умилённо сказала женщина; блеснув на неё мягким светом синих глаз, Никита ласково отозвался:

– Спаси бог.

– Это ты сад убрал?

– Я.

– Хорошо убрал. Любишь сады?

Стоя на коленях, он кратко рассказал, что с девяти лет был отдан князем барином в ученики садовнику, а теперь ему девятнадцать лет.

«Горбат, а будто не злой», – подумала женщина.

Вечером, когда она с дочерью пила чай у себя наверху, Никита встал в двери с пучком цветов в руке и с улыбкой на желтоватом, некрасивом и невесёлом лице.

– Извольте принять букет.

– Зачем это? – удивилась Баймакова, подозрительно рассматривая красиво подобранные цветы и травы. Никита объяснил ей, что у господ своих он обязан был каждое утро приносить цветы княгине.

– Вот как, – сказала Баймакова и, немножко зарумянившись, гордо подняла голову: – Али я похожа на княгиню? Она, поди-ка, красавица?

– Так ведь и вы тоже.

Ещё более покраснев, Баймакова подумала: «Не отец ли научил его?»

– Ну, спасибо за почёт, – сказала она, но к чаю не пригласила Никиту, а когда он ушёл, подумала вслух:

– Хороши глаза у него; не отцовы, а материны, должно быть.

И вздохнула.

– Видно – судьба нам с ними жить.

Она не очень уговаривала Артамонова подождать со свадьбой до осени, когда исполнится год со дня смерти мужа её, но решительно заявила свату:

– Только ты, сударь, Илья Васильевич, отступишь от этого дела, дай мне устроить всё по-нашему, по-хорошему, по-старинному. Это и тебе выгодно, сразу войдёшь во все лучшие наши люди, на виду встанешь.

– Ну, – горделиво замычал Артамонов, – меня и без этого издали видно.

Обиженная его заносчивостью, она сказала:

– Тебя здесь не любят.

– Ну, бояться станут.

И, ухмыляясь, пожав плечами:

– Вот и Пётр тоже все про любовь поёт. Чудаки вы...

– Да и на меня нелюбовь эта заметно падает.

– Ты, сватья, не беспокойся!

Артамонов поднял длинную лапу, докрасна сжав пальцы в кулак.

– Я людей обламывать умею, вокруг меня недолго попрыгаешь. Я обойдусь и без любви...

Женщина промолчала, думая с жуткой тревогой:

«Экой зверь».

И вот уютный дом её наполнен подругами дочери, девицами лучших семей города; все они пышно одеты в старинные парчовые сарафаны, с белыми пузырями рукавов из кисеи и тонкого полотна, с проймами и мордовским шитьём шелками, в кружевах у запястий, в козловых и сафьяновых башмаках, с лентами в длинных девичьих косах. Невеста, задыхаясь в тяжёлом, серебряной парчи, сарафане с вызолоченными ажурными пуговицами от ворота до подола, – в шушуне золотой парчи на плечах, в белых и голубых лентах; она сидит, как ледяная, в переднем углу и, отирая кружевным платком потное лицо, звучно «стиховодит»:

По лугам, по зелёны-им,

По цветам, по лазоревым,  
Разлилася вода вешняя,  
Студёна вода, ой, мутная...

Подруги голосно и дружно подхватывают замирающий стон девичьей жалобы:

Посылают меня, девицу,  
Посылают меня по воду,  
Меня босу, необутую,  
Ой, нагую, неодетую...

Невидимый в толпе девиц, хохочет и кричит Алексей:

– Это – смешная песня! Засовали девицу в парчу, как индюшку в жестяное ведро, а – кричите: нага, неодета!

Близко к невесте сидит Никита, новая синяя поддёвка уродливо и смешно взъехала с горба на затылок, его синие глаза широко раскрыты и смотрят на Наталью так странно, как будто он боится, что девушка сейчас растает, исчезнет. В двери стоит, заполняя всю её, Матрёна Барская и, ворочая глазами, гудит глубоким басом:

– Не жалобно поёте, девицы.

Шагнув широким шагом лошади, она строго внушает, как надо петь по старине, с каким трепетом надо готовиться к венцу.

– Сказано: «за мужем – как за каменной стеной», так вы знайте: крепка стена – не проломишь, высока – не переско-

чишь.

Но девицы плохо слушают её, в комнате тесно, жарко, толкая старуху, они бегут во двор, в сад; среди них, как пчела в цветах, Алексей в шёлковой золотистой рубахе, в плисовых шароварах, шумный и весёлый, точно пьян.

Обиженно надув толстые губы, выпучив глаза, высоко приподняв спереди подол штофной<sup>10</sup> юбки, Барская, тучей густого дыма, поднимается вверх, к Ульяне, и пророчески говорит:

– Весела дочь у тебя, не по правилу это, не по обычаю. Весёлому началу – плохой конец!

Баймакова озабоченно роется в большом, кованом сундуке, стоя на коленях пред ним; вокруг неё на полу, на постели разбросаны, как в ярмарочной лавке, куски штофа, канаса<sup>11</sup>, московского кумача, кашмировые шали, ленты, вышитые полотенца, широкий луч солнца лежит на ярких тканях, и они разноцветно горят, точно облако на вечерней заре.

– Непорядок это – жить жениху до венца в невестином доме, надо было выехать Артамоновым...

– Говорила бы раньше, поздно теперь говорить об этом, – ворчит Ульяна, наклоняясь над сундуком, чтобы спрятать огорчённое лицо, и слышит басовитый голос:

– Про тебя был слух, что ты – умная, вот я и молчала.

---

<sup>9</sup> бархатовидная ткань – *Ред.*

<sup>10</sup> шёлковая плотная ткань, обычно с разводами – *Ред.*

<sup>11</sup> ткань из шёлка-сырца – *Ред.*

Думала – сама догадаешься. Мне что? Мне – была бы правда сказана, люди не примут, господь зачтёт.

Барская стоит, как монумент, держа голову неподвижно, точно чашу, до краёв полную мудрости; не дождавшись ответа, она вылезает за дверь, а Ульяна, стоя на коленях в цветном пожаре тканей, шепчет в тоске и страхе:

– Господи – помоги! Не лиши разума.

Снова шорох у двери, она поспешно сунула голову в сундук, чтобы скрыть слёзы, Никита в двери:

– Наталья Евсевна послала узнать, не надо ли вам помощи в чём-нибудь.

– Спасибо, милый...

– На кухне Ольгушка Орлова патокой облилась.

– Да – что ты? Умненькая девчоночка, – вот бы тебе невеста...

– Кто пойдёт за меня...

А в саду под липой, за круглым столом, сидят, пьют брагу Илья Артамонов, Гаврила Барский, крёстный отец невесты, Помялов и кожевник Житейкин, человек с пустыми глазами, тележник Воропонов; прислонясь к стволу липы, стоит Пётр, тёмные волосы его обильно смазаны маслом и голова кажется железной, он почтительно слушает беседу старших.

– Обычай у вас другие, – задумчиво говорит отец, а Помялов хвастается:

– Мы же тут коренной народ. Велика Русь!

– И мы – не пристяжные.

– Обычай у нас древние...

– Мордвы много, чуваш...

С визгом и смехом, толкаясь, сбежали в сад девицы и, окружив стол ярким венком сарафанов, запели величание:

Ой, свату великому,  
Да Илье-то бы Васильевичу,  
На ступень ступить – нога сломить,  
На другу ступить – друга сломить,  
А на третью – голова свернуть.

– Вот так честят! – удивлённо вскричал Артамонов, обращаясь к сыну, – Пётр осторожно усмехнулся, поглядывая на девиц и дёргая себя за ухо.

– А ты – слушай! – советует Барский и хохочет.

Того мало свату нашему  
Да похитчику девичьему...

– Ещё мало? – возбуждаясь, кричит Артамонов, видимо, смущённый, постукивая пальцами по столу. А девицы яростно поют:

С хором бы тя б борону,  
Да с горы бы тя б каменьё,  
Чтобы ты нас не обманывал,  
Не хвалил бы, не нахваливал  
Чужедальние стороны,

Нелюдимые слободы, —  
Они горем насеяны,  
Да слезами поливаны...

– Вот оно к чему! – обиженно вскричал Артамонов. – Ну, я, девицы, не во гнев вам, свою-то сторону всё-таки похваляю: у нас обычаи помягче, народ поприветливее. У нас даже поговорка сложена: «Свапа да Усожа – в Сейм текут; слава тебе, боже, – не в Оку!»

– Ты – погоди, ты ещё не знаешь нас, – не то хвастаясь, не то угрожая, сказал Барский. – Ну, одари девиц!

– Сколько ж им дать?

– Сколько душе не жалко.

Но когда Артамонов дал девицам два серебряных рубля, Помялов сердито сказал:

– Широко даёшь, бахвалишься!

– Ну и трудно угодить на вас! – тоже гневно крикнул Илья, Барский оглушительно захохотал, а Житейкин рассыпал в воздухе смешок, мелкий и острый.

Девичник кончился на рассвете, гости разошлись, почти все в доме заснули, Артамонов сидел в саду с Петром и Никитой, гладил бороду и говорил негромко, оглядывая сад, щупая глазами розоватые облака:

– Народ – терпкий. Нелюбезный народ. Уж ты, Петруха, исполняй всё, что тёща посоветует, хоть и бабы пустяки это, а – надо! Алексей пошёл девок провожать? Девкам он – при-

ятен, а парням – нет. Злобно смотрит на него сынишка Барского... н-да! Ты, Никита, поласковее будь, ты это умеешь. Послужи отцу замазкой, где я трещину сделаю, ты – заткни.

Заглянув одним глазом в большой деревянный жбан, он продолжал угрюмо:

– Всё вылакали; пьют, как лошади. Что думаешь, Пётр?

Перебирая в руках шёлковый пояс, подарок невесты, сын тихо сказал:

– В деревне – проще, спокойнее жить.

– Ну... Чего проще, коли день проспал...

– Тянут они со свадьбой.

– Потерпи.

И вот наступил для Петра большой, трудный день. Пётр сидит в переднем углу горницы, зная, что брови его сурово сдвинуты, нахмурены, чувствуя, что это нехорошо, не красит его в глазах невесты, но развести бровей не может, очи точно крепкой ниткой сшиты. Исподлобья поглядывая на гостей, он встряхивает волосами, хмель сыплется на стол и на фату Натальи, она тоже понурилась, устало прикрыв глаза, очень бледная, испугана, как дитя, и дрожит от стыда.

– Горько! – в двадцатый раз ревут красные, волосатые рожи с оскаленными зубами.

Пётр поворачивается, как волк, не сгибая шеи, приподнимает фату и сухими губами, носом тычется в щёку, чувствуя атласный холод её кожи, пугливую дрожь плеча; ему жалко Наталью и тоже стыдно, а тесное кольцо подвыпивших лю-

дей орёт:

– Не умеет парень!

– В губы цель!

– Эх, я бы вот поцеловал...

Пьяный женский голос визжит:

– Я те поцелую!

– Горько! – рычит Барский.

Сцепив зубы, Пётр прикладывается к влажным губам девушки, они дрожат, и вся она, белая, как будто тает, подобно облаку на солнце. Они оба голодны, им со вчерашнего дня не давали есть. От волнения, едких запахов хмельного и двух стаканов шипучего цимлянского вина<sup>12</sup> Пётр чувствует себя пьяным и боится, как бы молодая не заметила этого. Все вокруг зыблется, то сливаясь в пёструю кучу, то расплываясь во все стороны красными пузырями неприятных рож. Сын умоляюще и сердито смотрит на отца, Илья Артамонов встрёпанный, пламенный, кричит, глядя в румяное лицо Баймаковой:

– Сватья, чокнемся медком! Мёд у тебя – в хозяйку сладок...

Она протягивает круглую, белую руку, сверкает на солнце золотой браслет с цветными камнями, на высокой груди переливается струя жемчуга. Она тоже выпила, в её серых глазах томная улыбка, приоткрытые губы соблазнительно шевелятся, чокнувшись, она пьёт и кланяется свату, а он, встря-

---

<sup>12</sup> шампанское красного цвета – *Ред.*

живая косматой башкой, восхищенно орёт:

– Эка повадка у тебя, сватья! Княжья повадка, убей меня бог!

Пётр смутно понимает, что отец неладно держит себя; в пьяном рёве гостей он чутко схватывает ехидные возгласы Помялова, басовитые упрёки Барской, тонкий смешок Житейкина.

«Не свадьба, а – суд», – думает он и слышит:

– Глядите, как он, бес, смотрит на Ульяну-то, ой-ой!

– Быть ещё свадьбе, только – без попов...

Эти слова на минуту влипают в уши ему, но он тотчас забывает их, когда колено или локоть Натальи, коснувшись его, вызовет во всём его теле тревожное томленье. Он старается не смотреть на неё, держит голову неподвижно, а с глазами сладить не может, они упрямо косятся в её сторону.

– Скоро ли конец этому? – шепчет он, Наталья так же отвечает:

– Не знаю.

– Стыдно...

– Да, – слышит он и рад, что молодая чувствует одинаково с ним.

Алексей – с девицами, они пируют в саду; Никита сидит рядом с длинным попом, у попа мокрая борода и жёлтые, медные глаза на рябом лице. Со двора и с улицы в открытые окна смотрят горожане, десятки голов шевелятся в синем воздухе, поминутно сменяясь одна другою; открытые

рты шепчут, шипят, кричат; окна кажутся мешками, из которых эти шумные головы сейчас покатятся в комнату, как арбузы. Никита особенно отметил лицо землекопа Тихона Вялова, скуластое, в рыжеватой густой шерсти и в красных пятнах. Бесцветные на первый взгляд глаза странно мерцали, подмигивая, но мигали зрачки, а ресницы – неподвижны. И неподвижны тонкие, упрямо сжатые губы небольшого рта, чуть прикрытого курчавыми усами. А уши нехорошо прижаты к черепу. Этот человек, наваясь грудью на подоконник, не шумел, не ругался, когда люди пытались оттолкнуть его, он молча оттирал их лёгкими движениями плеч и локтей. Плечи у него были круто круглые, шея пряталась в них, голова росла как бы прямо из груди, он казался тоже горбатым, и в лице его Никита нашёл нечто располагающее, доброе.

Кривой парень неожиданно и гулко ударил в бубен, крепко провёл пальцем по коже его, бубен заныл, загудел, кто-то, свистнув, растянул на колене двухрядную гармонику, и тотчас посреди комнаты завертелся, затопал кругленький, кудрявый дружка невесты, Степаша Барский, вскрикивая в такт музыке:

Эй, девицы-супротивницы,  
Хороводницы, затейницы!  
У меня ли густо денежки звенят,  
Выходите, что ли, супроти меня!

Отец его выпрямился во весь свой огромный рост и загре-

мел:

– Стёпка! Не выдай город, покажи курятам!

Вскочил Илья Артамонов, дёрнув встрёпанной, как помело, головою, лицо его налилось кровью, нос был красен, как уголь, он закричал в лицо Барскому:

– Мы тебе не курята, а – куряне! И – ещё кто кого перепляшет! Олёша!

Весь сияющий, точно лаком покрытый, Алексей, улыбаясь, присмотрелся к дрёмовскому плясуну и пошёл, вдруг побледнев, неувовимо быстро, взвизгивая по-девичьи.

– Присловья не знает! – крикнули дрёмовцы, и тотчас раздался отчаянный рёв Артамонова:

– Олёшка – убью!

Не останавливаясь, чётко отбивая дробь, Алексей вложил два пальца в рот, оглушительно свистнул и звонко выговорил:

У барина, у Мокея,  
Было пятеро лакеев,  
Ныне барин Мокей  
Сам таков же лакей!

– Натe! – победоносно рявкнул Артамонов.

– Ого! – многозначительно воскликнул поп и, подняв палец, покрутил головою.

– Алексей перепляшет вашего, – сказал Пётр Наталье, – она робко ответила:

– Лёгкий.

Отцы стравливали детей, как бойцовых петухов; полупьяные, они стояли плечо в плечо друг с другом, один – огромный, неуклюжий, точно куль овса, из его красных, узеньких щелей под бровями обильно текли слёзы пьяного восторга, другой весь подобрался, точно готовясь прыгнуть, шевелил длинными руками, поглаживая бёдра свои, глаза его почти безумны. Пётр, видя, что борода отца шевелится на скулах, соображает:

«Зубами скрипит... Ударит кого-нибудь сейчас...»

– Охально пляшет артамоновский! – слышен трубный голос Матрёны Барской. – Не фигурно пляшет! Бедно!

Илья Артамонов хохочет в тёмное, круглое, как сковородка, лицо её, в широкий нос, – Алексей победил, сын Барских, шатаясь, идёт к двери, а Илья, грубо дёрнув руку Баймаковой, приказывает:

– Ну-тко, сватья, выходи!

Побледнев, размахивая свободной рукою, она гневно и растерянно отбивается:

– Что ты! Али мне вместе, что ты?

Гости примолкли, ухмыляясь, Помялов переглянулся с Барской, масляно шипят его слова:

– Ну, ничего! Утешь, Ульяна, спляши! Господь простит...

– Грех – на меня! – кричит Артамонов.

Он как будто отрезвел, нахмурился и точно в бой пошёл, идя как бы не своей волей. Баймакову толкнули встре-

чу ему, пьяненькая женщина пошатнулась, оступилась и, выпрямься, вскинув голову, пошла по кругу, – Пётр услышал изумлённый шёпот:

– А, батюшки! Муж в земле ещё года не лежит, а она и дочь выдала и сама пляшет!

Не глядя на жену, но понимая, что ей стыдно за мать, он пробормотал:

– Не надо бы отцу плясать.

– И матушке не надо бы, – ответила она тихо и печально, стоя на скамье и глядя в тесный круг людей, через их головы; покачнувшись, она схватилась рукою за плечо Петра.

– Тише! – сказал он ласково, поддержав её за локоть.

В открытые окна, через головы зрителей, вливались отблески вечерней зари, в красноватом свете этом кружились, как слепые, мужчина и женщина. В саду, но дворе, на улице хохотали, кричали, а в душной комнате становилось всё тише. Туго натянутая кожа бубна бухала каким-то тёмным звуком, верещала гармоника, в тесном круге парней и девиц всё ещё, как обожжённые, судорожно металась двое; девицы и парни смотрели на их пляску молча, серьёзно, как на необычно важное дело, солидные люди частью ушли во двор, остались только осовевшие, неподвижно пьяные.

Артамонов, топнув, остановился:

– Ну, забила ты меня, Ульяна Ивановна!

Женщина, вздрогнув, тоже вдруг встала, как пред стеною, и, поклонясь всем круговым поклоном, сказала:

– Не обессудьте.

Обмахиваясь платком, она тотчас ушла из комнаты, а на смену ей влезла Барская:

– Разводите молодых! Ну-ко, Пётр, иди ко мне; дружки, – ведите его под руки!

Отец, отстранив дружек, положил свои длинные, тяжёлые руки на плечи сына:

– Ну, иди, дай бог счастья! Обнимемся давай!

Он толкнул его, дружки подхватили Пётра под руки, Барская, идя впереди, бормотала, поплёвывая во все стороны:

– Тьфу, тьфу! Ни болезни, ни горюшка, ни зависти, ни бесчестьица, тьфу! Огонь, вода – вовремя, не на беду, на счастье!

Когда Пётр вошёл вслед за ней в комнату Натальи, где была приготовлена пышная постель, старуха тяжело села посреди комнаты на стул.

– Слушай, да – не забудь! – торжественно говорила она. – Вот тебе две полтины, положи их в сапоги, под пятку; придёт Наталья, встанет на колени, захочет с тебя сапоги снять, – ты ей не давай...

– Зачем это? – угрюмо спросил Пётр.

– Не твоё дело. Три раза – не дашь, а в четвёртый – разреши, и тут она тебя трижды поцелует, а полтинники ты дай ей, скажи: дарю тебе, раба моя, судьба моя! Помни! Ну, разденешься и ляг спиной к ней, а она тебя просить будет: пусти ночевать! Так ты – молчи, только в третий раз протяни ей

руку, – понял? Ну, потом...

Пётр изумлённо взглянул в тёмное, широкое лицо наставницы, раздувая ноздри, облизывая губы, она отирала платком жирный подбородок, шею и властно, чётко выговаривала грубые, бесстыдные слова, повторив на прощанье:

– Крику – не верь, слезам – не верь. – Она, пошатываясь, вылезла из комнаты, оставив за собою пьяный запах, а Петром овладел припадок гнева, – сорвав с ног сапоги, он метнул их под кровать, быстро разделся и прыгнул в постель, как на коня, сцепив зубы, боясь заплакать от какой-то большой обиды, душившей его.

– Черти болотные...

В пуховой постели было жарко; он соскочил на пол, подошёл к окну, распахнул раму, – из сада в лицо ему хлынул пьяный гул, хохот, девичий визг; в синеватом сумраке, между деревьями, бродили чёрные фигуры людей. Медным пальцем воткнулся в небо тонкий шпиль Никольской колокольни, креста на нём не было, сняли золотить. За крышами домов печально светилась Ока, кусок луны таял над нею, дальше чёрными сугробами лежали бесконечные леса. Ему вспомнилась другая земля, – просторная земля золотых пашен, он вздохнул; на лестнице затопали, захихикали, он снова прыгнул в кровать, открылась дверь, шуршал шёлк лент, скрипели башмаки, кто-то, всхлипывая, плакал; звякнул крючок, вложенный в пробой. Пётр осторожно приподнял голову; в сумраке у двери стояла белая фигура, мерно

размахивая рукою, сгибаясь почти до земли.

«Молится. А я – не молился».

Но молиться – не хотелось.

– Наталья Евсеевна, – тихонько заговорил он, – вы не бойтесь. Я сам боюсь. Замучился.

Обеими руками приглаживая волосы на голове, дёргая себя за ухо, он бормотал:

– Ничего этого не надо – сапоги снимать и всё. Глупости.

У меня сердце болит, а она балуется. Не плачьте.

Осторожно, боком она прошла к окну, тихонько сказав:

– Гуляют ещё.

– Да.

Боясь чего-то, не решаясь подойти один к другому, оба усталые, они долго перебрасывались ненужными словами. На рассвете заскрипела лестница, кто-то стал шарить рукою по стене, Наталья пошла к двери.

– Барскую не пускайте, – шепнул Пётр.

– Это – матушка, – сказала Наталья, открыв дверь; Пётр сел на кровати, спустив ноги, недовольный собою, тоскливо думая:

«Плох я, не смел, посмеётся надо мной она, дождусь...»

Дверь открылась, Наталья тихо сказала:

– Матушка зовёт.

Она прислонилась к печке, почти невидимая на белых изразцах, а Пётр вышел за дверь, и там, в темноте, его встретил обиженный, испуганный, горячий шёпот Баймаковой:

– Что ж ты делаешь, Пётр Ильич, что ты – опозорить хочешь меня и дочь мою? Ведь утро наступает, скоро будить вас придут, надо девичью рубаху людям показать, чтобы видели: дочь моя – честная!

Говоря, она одною рукой держала Пётра за плечо, а другою отталкивала его, возмущённо спрашивая:

– Что ж это? Силы нет, охоты нет? Не пугай ты меня, не молчи...

Пётр глухо сказал:

– Жалко её. Боязно.

Он не видел лица тётчи, но ему послышалось, что женщина коротко засмеялась.

– Нет, ты иди-ка, иди, делай своё мужское дело! Христофору-мученику помолись. Иди. Дай – поцелую...

Крепко обняв его за шею, дохнув тёплым запахом вина, она поцеловала его сладкими, липкими губами, он, не успев ответить на поцелуй, громко чмокнул воздух. Войдя в светёлку, заперев за собою дверь, он решительно протянул руки, девушка подалась вперёд, вошла в кольцо его рук, говоря дрожащим голосом:

– Выпимши она немножко...

Пётр ожидал других слов. Пятясь к постели, он бормотал:

– Не бойся. Я – некрасивый, а – добрый...

Прижимаясь к нему все плотнее, она шепнула:

– Ноженьки не держат...

...Пировать в Дрёмове любили; свадьба растянулась на

пять суток; колобродили с утра до полуночи, толпою расхаживая по улицам из дома в дом, кружась в хмельном чаду. Особенно обилен и хвастлив пир устроили Барские, но Алексей побил их сына за то, что тот обидел чем-то подростка Ольгу Орлову. Когда отец и мать Барские пожаловались Артамонову на Алексея, он удивился:

– Где ж это видано, чтоб парни не дрались?

Он торовато одарял девиц лентами и гостинцами, парней – деньгами, насмерть поил отцов и матерей, всех обнимал, встряхивал:

– Эх, люди! Живём али нет?

Вёл он себя буйно, пил много, точно огонь заливая внутри себя, пил не пьянея и заметно похудел в эти дни. От Ульяны Баймаковой держался в стороне, но дети его заметили, что он посматривает на неё требовательно, гневно. Он очень хвастался силой своей, тянулся на палке с гарнизонными солдатами, поборол пожарного и троих каменщиков, после этого к нему подошёл землекоп Тихон Вялов и не предложил, а потребовал:

– Теперь со мной.

Артамонов, удивлённый его тоном, обвёл взглядом коренастое тело землекопа.

– А ты – кто такое: силен или хвастлив?

– Не знаю, – серьёзно ответил тот.

Схватив друг друга за кушаки, они долго топтались на одном месте. Илья смотрел через плечо Вялова на женщин,

бесстыдно подмигивая им. Он был выше землекопа, но тоньше и несколько складнее его. Вялов, упираясь плечом в грудь ему, пытался приподнять соперника и перебросить через себя. Илья, понимая это, вскрикивал:

– Не хитёр ты, брат, не хитёр!

И вдруг, ухнув, сам перебросил Тихона через голову свою с такой силой, что тот, ударом о землю, отбил себе ноги. Сидя на траве, стирая пот с лица, землекоп сконфуженно молвил:

– Силён.

– Видим, – ответили ему насмешливо.

– Здоров, – повторил Вялов.

Илья протянул ему руку.

– Вставай!

Не приняв руки, землекоп попытался встать, не мог и снова вытянул ноги, глядя вслед толпе странными, тающими глазами. К нему подошёл Никита, участливо спрашивая:

– Больно? Помочь?

Землекоп усмехнулся.

– Кости страдают. Я – сильнее отца-то твоего, да не столько ловок. Ну, пойдём за ними, Никита Ильич, простец!

И, дружески взяв горбуна под руку, он пошёл с ним за толпой, притопывая ногами и этим, должно быть, надеясь умерить боль.

Молодожёны, истомлённые бессонными ночами и усталостью, безвольно, напоказ людям плавали по улицам сре-

ди пёстрой, шумной, подпившей толпы, пили, ели, конфузились, выслушивая бесстыдные шуточки, усиленно старались не смотреть друг на друга и, расхаживая под руку, сидя всегда рядом, молчали, как чужие. Это очень нравилось Матрёне Барской, она хвастливо спрашивала Илью и Ульяну:

– Хорошо ли научен сын-от? То-то же! Ты гляди, Ульяна, как я тебе дочь вышколила! А – зять? Павлином ходит; я – не я, жена – не моя!

Но уходя к себе, спать, Пётр и Наталья сбрасывали прочь вместе с одеждой всё, навязанное им, покорно принятое ими, и разговаривали о прожитом дне:

– Ну, и пьют же у вас! – удивлялся Пётр.

– А у вас – меньше? – спрашивала жена.

– Разве мужикам можно так пить!

– Не похожи вы на мужиков.

– Мы – дворовые, это вроде дворян будет.

Иногда они, обнявшись, садились у окна, дыша вкусными запахами сада, и молчали.

– Что молчишь? – тихонько спрашивала жена, – муж так же тихо отвечал:

– Неохота говорить обыкновенные слова.

Ему хотелось услышать слова необыкновенные, но Наталья не знала их. Когда же он рассказывал ей о безграничной широте и просторе золотых степей, она спрашивала:

– Ни лесов нет, ничего? Ой, как страшно, должно быть!

– Страхи – в лесах живут, – скучно вато сказал Пётр. – В

степи – какой же страх? Там – земля, да небо, да – я.

И вот однажды, когда они сидели у окна, молча любуясь звёздной ночью, в саду, около бани, послышалась возня, кто-то бежал, задевая и ломая прутья малинника, потом стал слышен негромкий, гневный возглас:

– Что ты, дьявол?

Наталья испуганно вскочила.

– Это – матушка!

Пётр высунулся из окна, загородив его своей широкой спиной, он увидел, что отец, обняв тещу, прижимает её к стене бани, стараясь опрокинуть на землю, она, часто взмахивая руками, бьёт его по голове и, задыхаясь, громко шепчет:

– Пусти, закричу!

И не своим голосом крикнула:

– Родимый – не тронь! Пожалей...

Пётр бесшумно закрыл окно, схватил жену, посадил её на колени себе.

– Не гляди.

Она билась в руках его, вскрикивая:

– Что это, кто?

– Отец, – сказал Пётр, крепко стиснув её. – Не понимаешь, что ли...

– Ой, как же это? – шептала она со стыдом и страхом; муж отнёс её на постель, покорно говоря:

– Мы родителям не судьи.

Схватясь руками за голову, Наталья качалась, ныла:

– Грех-то какой!

– Не наш грех, – сказал Пётр и вспомнил слова отца: «господа то ли ещё делают?» – Это и лучше: к тебе не ползет. Они, старики, – просты; для них это «птичий грех» – со снойной баловаться. Не плачь.

Жена сквозь слёзы говорила:

– Ещё когда они плясали, так я подумала... Если он – настолько, что же теперь будет у нас?

Но, утомлённая волнением, она скоро заснула не раздеваясь, а Пётр открыл окно, осмотрел сад, – там никого не было, вздыхал предрассветный ветер, деревья встряхивали душистую тьму. Оставив окно открытым, он лёг рядом с женою, не закрывая глаз, думая о случившемся. Хорошо бы жить вдвоём с Натальей на маленьком хуторе...

...Наталья проснулась скоро, ей показалось, что её разбудили жалость к матери и обида за неё. Босая, в одной рубашке, она быстро сошла вниз. Дверь в комнату матери, всегда запертая на ночь, была приоткрыта, это ещё более испугало женщину, но, взглянув в угол, где стояла кровать матери, она увидела под простыней белую глыбу и тёмные волосы, разбросанные по подушке.

«Спит. Наплакалась, нагоревалась...»

Нужно что-то сделать, чем-то утешить оскорблённую мать. Она пошла в сад; мокрая, в росе, трава холодно щекотала ноги; только что поднялось солнце из-за леса, и ко-

сые лучи его слепили глаза. Лучи были чуть тёплые. Сорвав посеребрённый росой лист лопуха, Наталья приложила его к щеке, потом к другой и, освежив лицо, стала собирать на лист гроздь красной смородины, беззлобно думая о свёкре. Тяжёлой рукою он хлопал её по спине и, ухмыляясь, спрашивал:

– Ну, что – живёшь? Дышишь? Ну – живи!

Других слов для неё у него, видимо, не было, а ласковые шлепки несколько обижали её: так ласкают лошадей.

«Разбойник какой», – подумала она, заставляя себя думать о свёкре враждебно.

Пели зяблики, зорянки, щебетали чижи, тихо, шёлково шуршали листья деревьев, далеко на краю города играл пастух, с берега Ватаракши, где росла фабрика, доносились человечьи голоса, медленно плывя в светлой тишине. Что-то щёлкнуло; вздрогнув, Наталья подняла голову, – над нею, на сучке яблони висела западня для птиц, чиж бился среди тонких прутьев.

«Кто ж это ловит? Никита?»

Где-то хрустнул сухой сучок.

Когда она вернулась в дом и заглянула в комнату матери, та, проснувшись, лежала вверх лицом, удивлённо подняв брови, закинув руку за голову.

– Кто... что ты? – тревожно спросила она, приподнимаясь на локте.

– Ничего, вот – смородины к чаю набрала тебе.

На столе у кровати стоял большой графин кваса, почти пустой, квас был пролит на скатерть, пробка графина лежала на полу. Строгие, светлые глаза матери окружены синеватой тенью, но не опухли от слёз, как ожидала видеть это Наталья; глаза как будто тоже потемнели, углубились, и взгляд их, всегда несколько надменный, сегодня казался незнакомым, смотрел издали, рассеянно.

– Комары спать не дают, в амбаре спать буду, – говорила мать, кутая шею простыней. – Искусали. А ты что рано встала? Зачем ходишь босая по росе? Подол мокрый. Простудишься...

Говорила мать неласково и неохотно, сквозь какие-то свои думы. Тревога дочери постепенно заменялась неприязненным и острым любопытством женщины.

– Я проснулась – подумала о тебе... во сне тебя видела.

– Что подумала? – осведомилась мать, глядя в потолок.

– Вот – одна ты спишь, без меня...

Наталье показалось, что щёки матери зарумянились и что, когда она, улыбаясь, сказала: «Я не боязлива» – улыбка вышла фальшивой.

– Ну, иди, милоч, твой проснулся, слышишь – топает? – приказала мать, закрыв глаза.

Медленно поднимаясь по лестнице, Наталья думала брезгливо и почти враждебно:

«Ночевал он у неё, это он квас пил. Шея-то у неё в пятнах, не комары накусали, а нацеловано. Не скажу Пете об этом. В

амбаре спать хочет. А – кричала...»

– Где была? – спросил Пётр, зорко всматриваясь в лицо жены, – она опустила глаза, чувствуя себя виноватой в чём-то.

– Смородину собирала, к матери зашла.

– Ну, что же она?

– Ничего будто...

– Так, – сказал Пётр, дёрнув себя за ухо, – так!

И, усмехаясь, потирая тёмно-рыжий подбородок, вздохнул:

– Видно, – правду говорила дура Барская: крику не верь, слезам – не верь.

Затем он строго спросил:

– Никиту видела?

– Нет.

– Как же – нет? Вот он – птиц ловит в саду.

– Ой, – пугливо крикнула Наталья, – а я вот так, в одной рубахе ходила!

– То-то вот...

– И когда он спит?

Пётр, надевая сапог, громко крякнул, а жена, искоса взглянув на него, усмехнулась, говоря:

– Ведь горбат, а приятный... приятнее Алексея...

Муж крякнул ещё раз, но – потише.

...Каждый день, на восходе солнца, когда пастух, собирая стадо, заунывно наигрывал на длинной берестяной трубе, –

за рекою начинался стук топоров, и обыватели, выгоняя на улицу коров, овец, усмешливо говорили друг другу:

– Чу, затыпали, ни свет ни заря...

– Жадность – покою лютый враг.

Илье Артамонову иногда казалось, что он уже преодолел ленивую неприязнь города; дрёмовцы почтительно снимали пред ним картузы, внимательно слушали его рассказы о князьях Ратских, но почти всегда тот или другой не без гордости замечал:

– У нас господа попроще, победнее, а – построже ваших!

Вечерами, в праздники, сидя в густом, красивом саду трактира Барского на берегу Оки, он говорил богачам, сильным людям Дрёмова:

– От моего дела всем вам будет выгода.

– Давай бог, – отвечал Помялов, усмехаясь коротенькой, собачьей улыбкой, и нельзя было понять: ласково лизнёт или укусит? Его измятое лицо неудачно спрятано в пеньковой бородке, серый нос недоверчиво принюхивается ко всему, а желудёвые глаза смотрят ехидно.

– Давай бог, – повторяет он, – хотя и без тебя неплохо жили, ну, может, и с тобой так же проживём.

Артамонов хмурится:

– Двоемысленно говоришь, не дружески.

Барский хохочет, кричит:

– Он у нас – такой!

У Барского на месте лица скупо наляпаны багровые куски

мяса, его огромная голова, шея, щёки, руки – весь он густо оброс толстоволосой, медвежьей шерстью, уши – не видны, ненужные глаза скрыты в жирных подушечках.

– Вся моя сила в жир пошла, – говорит он и хохочет, широко открывая пасть, полную тупыми зубами.

К Артамонову присматривается очень светлыми глазами тележник Воропонов, он поучает сухоньким голосом:

– Дела делать – надо, а и божие не следует забывать. Сказано: «Марфа, Марфа, печешися о многом, а единое на потребу суть».

Светлые и точно пустые глаза его смотрят так, как будто Воропонов догадывается о чём-то и вот сейчас оглушит необыкновенным словом. Иногда он как будто и начинал говорить нечто:

– Конечно, и Христос хлеб вкушал, так что Марфа...

– Ну-ну, – останавливал его кожевник Житейкин, церковный староста, – куда поехал?

Воропонов умолкал, двигая серыми ушами, а Илья спрашивал кожевника:

– Ты моё дело понимаешь?

– Это зачем? – искренно удивлялся Житейкин. – Дело – твоё, тебе его и понимать, чужак! У тебя – твоё, у меня – моё.

Артамонов пил густое пиво и смотрел сквозь деревья на мутную полосу Оки и левее, где в бок ей выползала из ельника, из болот, зелёной змеёю фигурно изогнувшаяся Вата-ракша. Там, на мысу, на золотой парче песка масляно све-

тится щепы и стружка, краснеет кирпич, среди примятых кустов тальника вытянулась длинная, мясного цвета фабрика, похожая на гроб без крышки. Горит на солнце амбар, покрытый матовым, ещё не окрашенным железом, и, точно восковой, тает жёлтый сруб двухэтажного дома, подняв в жаркое небо туго натянутые золотые стропила, – Алексей ловко сказал, что дом издали похож на гусли. Алексей живёт там, отодвинут подальше от парней и девиц города; трудно с ним – задорен и вспыльчив. Пётр тяжелее его, в Петре есть что-то мутное; ещё не понимает он, как много может сделать смелый человек.

По лицу Артамонова проходит тень, он, усмехаясь, смотрит из-под густых бровей на горожан, это – дешёвый народ, жадность к делу у них робкая, а настоящего задора – нет.

Ночами, когда город мёртво спит, Артамонов вором крадёт по берегу реки, по задворкам, в сад вдовы Баймаковой. В тёплом воздухе гудят комары, и как будто это они разносят над землёй вкусный запах огурцов, яблок, укропа. Луна катится среди серых облаков, реку глядят тени. Перешагнув через плетень в сад, Артамонов тихонько проходит во двор, вот он в тёмном амбаре, из угла его встречает опасливый шёпот:

– Незаметно прошёл?

Сбрасывая одежду, он сердито ворчит:

– Досада это мне, – прятаться! Мальчишка я, что ли?

– А не заводи любовницу.

– Рад бы не завёл, да господь навёл.

– Ой, что ты говоришь, еретик! Мы с тобой против бога идём...

– Ну, ладно! Это – после. Эх, Ульяна, люди тут у вас...

– А ты – полно, не скучай, – шепчет женщина и долго, с яростной жадностью, утешает его ласками, а отдохнув, подробно рассказывает о людях: кого надо бояться, кто умён, кто бесчестен, у кого лишние деньги есть.

– Помялов с Воропоновым, зная, что тебе дров много нужно, хотят леса кругом скупить, прижать тебя.

– Опоздали, князь леса мне запродал.

Вокруг них, над ними непроницаемо чёрная тьма, они даже глаз друг друга не видят и говорят беззвучным шёпотом. Пахнет сеном, берёзовыми вениками, из погребца поднимается сыроватый, приятный холодок. Тяжёлая, точно из свинца литая, тишина облила городишко; иногда пробежит крыса, попищат мышата, да ежечасно на колокольне у Николы подбитый колокол бросает в тьму унылые, болезненно дрожащие звуки.

– Экая ты дородная! – восхищается Артамонов, поглаживая горячее и пышное тело женщины. – Экая мощная! Что ж ты родила мало?

– Кроме Натальи – двое было, слабенькие, померли.

– Значит – муж был плох...

– Не поверишь, – шепчет она, – я ведь до тебя и не знала, какова есть любовь. Бабы, подруги, бывало, рассказывают, а

я – не верю, думаю: врут со стыда! Ведь, кроме стыда, я и не знала ничего от мужа-то, как на плаху ложилась на постель. Молюсь богу: заснул бы, не трогал бы! Хороший был человек, тихий, умный, а таланта на любовь бог ему не дал...

Её рассказ и возбуждает и удивляет Артамонова, крепко поглаживая пышные груди её, он ворчит:

– Вот как бывает, а я и не знал, думал: всякий мужик бабе сладок.

Он чувствует себя сильнее и умнее рядом с этой женщиной, днём – всегда ровной, спокойной, разумной хозяйкой, которую город уважает за ум её и грамотность. Однажды, растроганный её девичьими ласками, он сказал:

– Я понимаю, на что ты пошла. Зря мы детей женили, надо было мне с тобой обвенчаться...

– Дети у тебя – хорошие, они и узнают про нас, – не беда, а вот если город узнает...

Она вздрогнула всем телом.

– Ну, ничего, – шепнул Илья.

Как-то она полюбопытствовала:

– Скажи-ка: вот – человека ты убил, не снится он тебе?

Равнодушно почёсывая бороду, Илья ответил:

– Нет, я крепко сплю, снов не вижу. Да и чему сниться? Я и не видал, каков он. Ударили меня, я едва на ногах устоял, треснул кого-то кистенём по башке, потом – другого, а третий убежал.

Вздохнув, он с обидой проворчал:

– Наткнутся на тебя дураки, а ты за них отвечай богу...

Несколько минут лежали молча.

– Задремал?

– Нет.

– Иди, светать скоро начнёт; на стройку пойдёшь? Ох, умаешься ты со мной...

– Не бойся, – на будни хватило, хватит и на праздник, – похвалился Артамонов, одеваясь.

Он идёт по холодку, в перламутровом сумраке раннего утра; ходит по своей земле, сунув руки за спину под кафтан; кафтан приподнялся петушиным хвостом; Артамонов давит тяжёлою ногой стружку, щепу, думает:

«Олёшке надо дать выгуляться, пускай с него пена сойдёт. Трудный парень, а – хорош».

Ложится на песок или на кучу стружек и быстро засыпает. В зеленоватом небе ласково разгорается заря; вот солнце хвастливо развернуло над землёю павлиний хвост лучей и само, золотое, всплыло вслед за ним; проснулись рабочие и, видя распростёртое, большое тело, предупреждают друг друга:

– Тут!

Скуластый Тихон Вялов, держа на плече железный заступ, смотрит на Артамонова мерцающими глазами так, точно хочет перешагнуть через него и – не решается.

Муравьиная суeta людей, крики, стук не будят большого человека, лёжа в небо лицом, он храпит, как тупая пила, –

землекоп идёт прочь, оглядываясь, мигая, как ушибленный по голове. Из дома вышел Алексей в белой холщовой рубахе, в синих портах, он легко, как по воздуху, идёт купаться и обходит дядю осторожно, точно боясь разбудить его тихим скрипом стружки под ногами. Никита ещё засветло уехал в лес; почти каждый день он привозит оттуда воза два перегноя, сваливая его на месте, расчищенном для сада, он уже насадил берёз, клёна, рябины, черёмухи, а теперь копает в песке глубокие ямы, забивая их перегноем, илом, глиной, – это для плодовых деревьев. По праздникам ему помогает работать Тихон Вялов.

– Сады садить – дело безобидное, – говорит он.

Дёргая себя за ухо, ходит Пётр Артамонов, посматривает на работу. Сочно всхрапывает пила, въедаясь в дерево, по-свистывают, шаркая, рубанки, звонко рубят топоры, слышны смачные шлепки извести, и всхлипывает точило, облизывая лезвие топора. Плотники, поднимая балку, поют «Дубинушку», молодой голос звонко выводит:

Пришел к Марье кум Захарий,  
Кулаком Марью по харе...

– Грубо поют, – сказал Пётр землекопу Вялову, – тот, стоя по колено в песке, ответил:

– Всё едино чего петь...

– Как это?

– В словах души нет.

«Непонятный мужик», – подумал Пётр, отходя от него и вспоминая, что, когда отец предложил Вялову место наблюдающего за работой, мужик этот ответил, глядя под ноги отцу:

– Нет, я не гожусь на это, не умею людьми распоряжаться. Ты меня в дворники возьми...

Отец крепко обругал его.

...Холодная, мокрая пришла осень, сады покрылись ржавчиной, чёрные железные леса тоже проржавели рыжими пятнами; посвистывал сырой ветер, сгоняя в реку бледные, растоптанные стружки. Каждое утро к амбару подъезжали телеги, гружённые льном, запряжённые шершавыми лошадьми. Пётр принимал товар, озабоченно следя, как бы эти бородастые, угрюмые мужики не подсунули «потного», смоченного для веса водою, не продали бы простой лён по цене «долгунца». Трудно было ему с мужиками; нетерпеливый Алексей яростно ругался с ними. Отец уехал в Москву, вслед за ним отправилась тёща, будто бы на богомолье. Вечерами, за чаем, за ужином, Алексей сердито жаловался:

– Скучно тут жить, не люблю я здешних...

Этим он всегда раздражал Петра.

– Сам-то хорош! Задираешь всех. Хвастать любишь.

– Есть чем, вот и хвастаю.

Встряхивая кудрями, он расправлял плечи, выгибал грудь и, дерзко прищуривав глаза, смотрел на братьев, на невестку.

Наталья сторонилась его, точно боясь в нём чего-то, говорила с ним сухо.

После обеда, когда муж и Алексей уходили снова на работы, она шла в маленькую, монашескую комнату Никиты и, с шитьём в руках, садилась у окна, в кресло, искусно сделанное для неё горбуном из берёзы. Горбун, исполняя роль конторщика, с утра до вечера писал, считал, но когда являлась Наталья, он, прерывая работу, рассказывал ей о том, как жили князья, какие цветы росли в их оранжереях. Его высокий, девичий голос звучал напряжённо и ласково, синие глаза смотрели в окно, мимо лица женщины, а она, склонясь над шитьём, молчала так задумчиво, как молчит человек наедине с самим собою. Почти не глядя друг на друга, они сидели час, два, но порою Никита осторожно и как бы невольно обнимал невестку ласковым теплом синих глаз, и его большие, собачьи уши заметно розовели. Скользящий взгляд его иногда заставлял женщину тоже взглянуть на деверя и улыбнуться ему милостивой улыбкой – странной улыбкой; иногда Никита чувствует в ней некую догадку о том, что волнует его, иногда же улыбка эта кажется ему и обиженной и обидной, он виновато опускает глаза.



За окном шуршит и плещет дождь, смывая поблекшие краски лета, слышен крик Алексея, рёв медвежонка, недавно прикованного на цепь в углу двора, бабы-трепальщицы дробно околачивают лён. Шумно входит Алексей; мокрый, грязный, в шапке, сдвинутой на затылок, он всё-таки напоминает весенний день; посмеиваясь, он рассказывает, что

Тихон Вялов отсёк себе палец топором.

– Будто – невзначай, а дело явное: солдатчины боится. А я бы охотой в солдаты пошёл, только б отсюда прочь.

И, хмурясь, он урчит, как медвежонок:

– Заехали к чертям на задворки...

Потом требовательно протягивает руку:

– Дай пятиалтынный, я в город иду.

– Зачем?

– Не твоё дело.

Уходя, он напевает:

Бежит девка по дорожке,

Тащит милому лепёшки...

– Ох, доиграется он до нехорошего! – говорит Наталья. – Подруги мои с Ольгунькой Орловой часто видят его, а ей только пятнадцатый год пошёл, матери – нет у неё, отец – пьяница...

Никите не нравится, как она говорит это, в словах её он слышит избыток печали, излишек тревоги и как будто зависть.

Горбун молча смотрит в окно, в мокром воздухе качаются лапы сосен, сбрасывают с зелёных игол ртутные капли дождя. Это он посадил сосны; все деревья вокруг дома посажены его руками...

Входит Пётр, угрюмый и усталый.

– Чай пить пора, Наталья.

– Рано ещё.

– Пора, говорю! – кричит он, а когда жена уходит, садится на её место и тоже ворчит, жалуясь:

– Взвалил отец на мои плечи всю эту машину. Верчусь колесом, а куда еду – не знаю. Если у меня не так идёт, как надо, – задаст он мне...

Никита мягко и осторожно говорит ему об Алексее, о девице Орловой, но брат отмахивается рукою, видимо, не вслушавшись в его слова.

– Нет у меня времени девками любоваться! Я и жену только ночами сквозь сон вижу, а днём слеп, как сыч. Глупости у тебя на уме...

И, дёргая себя за ухо, он говорит осторожно:

– Не наше бы это дело, фабрика. Нам бы лучше податься в степи, купить там землю, крестьянствовать. Шума-то было бы меньше, а толку – больше...

Илья Артамонов возвратился домой весёлый, помолодевший, он подстриг бороду, ещё шире развернул плечи, глаза его светились ярче, и весь он стал точно заново перекованный плуг. Баринном развалясь на диване, он говорил:

– Дела наши должны идти, как солдаты. Работы вам, и детям вашим, и внукам довольно будет. На триста лет. Большое украшение хозяйства земли должно изойти от нас, Артамоновых!

Пощупал глазами сноху и закричал:

– Пухнешь, Наталья? Родишь мальчика – хороший подарок сделаю.

Вечером, собираясь спать, Наталья сказала мужу:

– Хорош батюшка, когда весёлый.

Муж, искоса взглянув на неё, неласково отозвался:

– Ещё бы не хорош, подарок обещал.

Но недели через две-три Артамонов притих, задумался;

Наталья спросила Никиту:

– На что батюшка сердится?

– Не знаю. Его не поймёшь.

В тот же вечер, за чаем, Алексей вдруг сказал отчётливо и громко:

– Батюшка, – отдай меня в солдаты.

– К-куда? – заикнувшись, спросил Илья.

– Не хочу я жить здесь...

– Ступайте вон! – приказал Артамонов детям, но когда и Алексей пошёл к двери, он крикнул ему:

– Стой, Олёшка!

Он долго рассматривал парня, держа руки за спиною, шевеля бровями, потом сказал:

– А я думал: вот у меня орёл!

– Не приживусь я тут.

– Врёшь. Место твоё – здесь. Мать твоя отдала мне тебя в мою волю, – иди!

Алексей шагнул, точно связанный, но дядя схватил его за плечо:

– Не так бы надо говорить с тобой, – со мной отец кулаком говорил. Иди.

И, ещё раз окрикнув его, внушительно добавил:

– Тебе – большим человеком быть, понял? Чтобы впредь я от тебя никакого визгу не слышал...

Оставшись один, он долго стоял у окна, зажав бороду в кулак, глядя, как падает на землю серый мокрый снег, а когда за окном стало темно, как в погребке, пошёл в город. Ворота Баймаковой были уже заперты, он постучал в окно, Ульяна сама отперла ему, недовольно спросив:

– Что это ты когда явился?

Не отвечая, не раздеваясь, он прошёл в комнату, бросил шапку на пол, сел к столу, облокотясь, запустив пальцы в бороду, и рассказал про Алексея.

– Чужой: сестра моя с барином играла, оно и сказывается.

Женщина посмотрела, плотно ли закрыты ставни окон, погасила свечу, – в углу, пред иконами, теплилась синяя лампада в серебряной подставе.

– Жени его скорей, вот и свяжешь, – сказала она.

– Да, так и надо. Только – это не всё. В Петре – задору нет, вот горе! Без задора – ни родить, ни убить. Работает будто не своё, всё ещё на барина, всё ещё крепостной, воли не чувствует, – понимаешь? Про Никиту я не говорю: он – убогий, у него на уме только сады, цветы. Я ждал – Алексей вгрызётся в дело...

Баймакова успокаивала его:

– Рано тревожишь себя. Погоди, завертится колесо бойчее, подомнёт всех – обомнутся.

Они беседовали до полуночи, сидя бок о бок в тёплой тишине комнаты, – в углу её колебалось мутное облако синеватого света, дрожал робкий цветок огня. Жалуясь на недостаток в детях делового задора, Артамонов не забывал и горожан:

– Скуподушные люди.

– Тебя не любят за то, что ты удачлив, за удачу мы, бабы, любим, а вашему брату чужая удача – бельмо на глаз.

Ульяна Баймакова умела утешить и успокоить, а Илья Артамонов только недовольно крякнул, когда она сказала ему:

– Я вот одного до смерти боюсь – понести от тебя...

– В Москве дела – огнём горят! – продолжал он, вставая, обняв женщину. – Эх, кабы ты мужиком была...

– Прощай, родимый, иди!

Крепко поцеловав её, он ушёл.

...На масленице Ерданская привезла Алексея из города в розвальнях оборванного, избитого, без памяти. Ерданская и Никита долго растирали его тело тёртым хреном с водкой, он только стонал, не говоря ни слова. Артамонов зверем метался по комнате, засучивая и спуская рукава рубахи, скрипя зубами, а когда Алексей очнулся, он заорал на него, размахивая кулаком:

– Кто тебя – говори?

Приоткрыв жалобно злой, запухший глаз, задыхаясь,

сплёвывая кровь, Алексей тоже захрипел:

– Добивай...

Испуганная Наталья громко заплакала, – свёкор топнул на неё, закричал:

– Цыц! Вон!

Алексей хватал голову руками, точно оторвать её хотел, и стонал.

Потом, раскинув руки, свалился на бок, замер, открыв окровавленный, хрипящий рот; на столе у постели мигала свеча, по обезображенному телу ползали тени, казалось, что Алексей всё более чернеет, пухнет. В ногах у него молча и подавленно стояли братья, отец шагал по комнате и спрашивал кого-то:

– Неужто – не выживет, а?

Но через восемь суток Алексей встал, влажно покашливая, харкая кровью; он начал часто ходить в баню, парился, пил водку с перцем; в глазах его загорелся тёмный угрюмый огонь, это сделало их ещё более красивыми. Он не хотел сказать, кто избил его, но Ерданская узнала, что бил Степан Барский, двое пожарных и мордвин, дворник Воропонова. Когда Артамонов спросил Алексея: так ли это? – тот ответил:

– Не знаю.

– Врёшь!

– Не видел; они мне сзади кафтан, что ли, на голову накинули.

– Скрываешь ты что-то, – догадывался Артамонов, Алек-

сей взглянул в лицо его нехорошо пылающими глазами и сказал:

– Я – выздоровею.

– Ешь больше! – посоветовал Артамонов и проворчал в бороду себе: – За такое дело – красного петуха пустить бы, поджарить им лапы-то...

Он стал ещё более внимателен, грубо ласков с Алексеем и работал напоказ, не скрывая своей цели: воодушевить детей страстью к труду.

– Всё делайте, ничем не брезгуйте! – поучал он и делал много такого, чего мог бы не делать, всюду обнаруживая зверину, зоркую ловкость, – она позволяла ему точно определять, где сопротивление силе упрямее и как легче преодолеть его.

Беременность снохи неестественно затянулась, а когда Наталья, промучившись двое суток, на третьи родила девочку, он огорчённо сказал:

– Ну, это что...

– Благодарите бога за милость, – строго посоветовала Ульяна, – сегодня день Елены Льяницы.

– Ой ли?

Он схватил святцы, взглянул и по-детски обрадовался:

– Веди к дочери!

Положив на грудь снохи серьги с рубинами и пять червонцев, он кричал:

– Получи! Хоть и не парня родила, а – хорошо!

И спрашивал Петра:

– Ну, что, рыба-сом, рад? Я, когда ты родился, рад был!

Пётр пугливо смотрел в бескровное, измученное, почти незнакомое лицо жены; её усталые глаза провалились в чёрные ямы и смотрели оттуда на людей и вещи, как бы вспоминая давно забытое; медленными движениями языка она облизывала искусанные губы.

– Что она молчит? – спросил он тещу.

– Накричалась, – объяснила Ульяна, выталкивая его из комнаты.

Двое суток, день и ночь слушал он вопли жены и сначала жалел её, боялся, что она умрёт, а потом, оглушённый её криками, отупев от суеты в доме, устал и бояться и жалеть. Он старался только уйти куда-нибудь подальше, куда не достигал бы вой жены, но спрятаться от этого не удавалось, визг звучал где-то внутри головы его, возбуждая необыкновенные мысли. И всюду, куда бы он ни шёл, он видел Никиту с топором или железной лопатой в руках, горбун что-то рубил, тесал, рыл ямы, бежал куда-то бесшумным бегом крота, казалось – он бегают по кругу, оттого и встречается везде.

– Не разродится, пожалуй, – сказал Пётр брату, – горбун, всадив лопату в песок, спросил:

– Что повитуха говорит?

– Утешает. Обещает. Ты что дрожишь?

– Зубы болят.

Вечером, в день родов, сидя на крыльце дома с Никитой

и Тихоном, он рассказал, задумчиво улыбаясь:

– Тёща положила мне на руки ребёнка-то, а я с радости и веса не почувствовал, чуть к потолку не подбросил дочь. Трудно понять: из-за такой малости, а какая тяжёлая мука...

Почёсывая скулу, Тихон Вялов сказал спокойно, как всегда говорил:

– Все человечьи муки из-за малости.

– Как это? – строго спросил Никита; дворник, зевнув, равнодушно ответил:

– Да – так как-то...

Из дома позвали ужинать.

Ребёнок родился крупный, тяжёлый, но через пять месяцев умер от угара, мать тоже едва не умерла, угорев вместе с ним.

– Ну, что ж! – утешал отец Петра на кладбище. – Родит ещё. А у нас теперь своя могила здесь будет, значит – якорь брошен глубоко. С тобой – твоё, под тобой – твоё, на земле – твоё и под землёй твоё, – вот что крепко ставит человека!

Пётр кивнул головою, глядя на жену; неуклюже согнув спину, она смотрела под ноги себе, на маленький холмик, по которому Никита сосредоточенно шлёпал лопатой. Смахая пальцами слёзы со щёк так судорожно быстро, точно боялась обжечь пальцы о свой распухший, красный нос, она шептала:

– Господи, господи...

Между крестов, читая надписи, ходил, кружился Алексей;

он похудел и казался старше своих лет. Его немужичье лицо, обрастая тёмным волосом, казалось обожжённым и закоптевшимся, дерзкие глаза, углубясь под чёрные брови, смотрели на всех неприязненно, он говорил глуховатым голосом, свысока и как бы нарочито невнятно, а когда его переспрашивали, взвизгивал:

– Не понимаешь?

И ругался. В его отношении к братьям явилось что-то нехорошее, насмешливое. На Наталью он покрикивал, как на работницу, а когда Никита, с упрёком, сказал ему: «Зря обижаешь Наташу!» – он ответил:

– Я человек больной.

– Она смиренная.

– Ну и пусть потерпит.

О том, что он больной, Алексей говорил часто и всегда почти с гордостью, как будто болезнь была достоинством, отличавшим его от людей.

Идя с кладбища рядом с дядей, он сказал ему:

– Надо бы нам свой погост устроить, а то с этими и мёртвому лежать зазорно.

Артамонов усмехнулся.

– Устроим. Всё будет у нас: церковь, кладбище, училище заведём, больницу, – погоди!

Когда шли по мосту через Ватаракшу, на мосту, держась за перила, стоял нищеподобный человек, в рыженьком, отрёпанном халате, похожий на пропившегося чиновника. На его

дряблом лице, заросшем седой бритой щетиной, шевелились волосатые губы, открывая осколки чёрных зубов, мутно светились мокренькие глазки. Артамонов отвернулся, сплюнул, но заметив, что Алексей необычно ласково кивнул головою дрянному человечку, спросил:

– Это что?

– Часовщик Орлов.

– И видно, что Орлов!

– Он – умный, – настойчиво сказал Алексей. – Его – за-  
травили...

Артамонов покосился на племянника и промолчал.

Наступило лето, сухое и знойное, за Окою горели леса, днём над землёю стояло опаловое облако едкого дыма, ночами лысая луна была неприятно красной, звёзды, потеряв во мгле лучи свои, торчали, как шляпки медных гвоздей, вода реки, отражая мутное небо, казалась потоком холодного и густого подземного дыма.

Артамоновы, поужинав, задыхаясь в зное, пили чай в саду, в полукольце клёнов; деревья хорошо принялись, но пышные шапки их узорной листвы в эту мглистую ночь не могли дать тени. Трещали сверчки, гудели однорогие, железные жуки, пищал самовар. Наталья, расстегнув верхние пуговицы кофты, молча разливала чай, кожа на груди её была тёплого цвета, как сливочное масло; горбун сидел, склонив голову, строгая прутья для птичьих клеток, Пётр дёргал пальцами мочку уха, тихонько говоря:

– Людей дразнить – вредно, а отец дразнит.

Алексей, сухо покашливая, смотрел в сторону города и точно ждал чего-то, вытягивая шею. В городе занял колокол.

– Набат? Пожар? – спросил Алексей, приложив ладонь ко лбу и вскакивая.

– Что ты? Звонарь часы отбивает.

Алексей встал и ушёл, а Никита, помолчав, сказал тихонько:

– Всё пожары ему чудятся.

– Злой стал, – осторожно заметила Наталья. – А сколько в нём веселья было...

Внушительно, как подобает старшему, Пётр упрекнул брата и жену:

– Вы оба глупо смотрите на него; ему ваша жалость обидна.

Идём спать, Наталья.

Ушли. Горбун, посмотрев вслед им, тоже встал, пошёл в беседку, где спал на сене, присел на порог её. Беседка стояла на холме, обложенном дёрном, из неё, через забор, было видно тёмное стадо домов города, колокольни и пожарная каланча сторожили дома. Прислуга убирала посуду со стола, звякали чашки. Вдоль забора прошли ткачи, один нёс бредень, другой гремел железом ведра, третий высекал из кремня искры, пытаясь зажечь трут, закурить трубку. Зарычала собака, спокойный голос Тихона Вялова ударил в тишину:

– Кто идёт?

Тишина была натянута над землёю туго, точно кожа бара-

бана, даже слабый хруст песка под ногами ткачей отражался ею неприятно чётко. Никите очень нравилась беззвучность ночей. Чем полнее была она, тем более сосредоточивал он всю силу воображения своего вокруг Натальи, тем ярче светились милые глаза, всегда немного испуганные или удивлённые. И легко было выдумывать различные, счастливые для него события: вот он нашёл богатейший клад, отдал его Петру, а Пётр отдал ему Наталью. Или: вот напали разбойники, а он совершает такие необыкновенные подвиги, что отец и брат сами отдавали ему Наталью в награду за то, что сделано им. Пришла болезнь, после неё от всего семейства остались в живых только двое: он и Наталья, и тогда бы он показал ей, что её счастье скрыто в его душе.

Было уже за полночь, когда он заметил, что над стадом домов города, из неподвижных туч садов, возникает ещё одна, медленно поднимаясь в тёмно-серую муть неба; через минуту она, снизу, багрово осветилась, он понял, что это пожар, побежал к дому и увидел: Алексей быстро лезет по лестнице на крышу амбара.

– Пожар! – крикнул Никита, – брат ответил, влезая выше:

– Знаю. Ну?

– Вот, – ждал ты, – вспомнил горбун и, удивлённый, остановился среди двора.

– Ну, ждал! Так что? В такую сушь всегда пожары бывают.

– Надо ткачей будить...

Но ткачей уже разбудил Тихон, и один за другим они бе-

жали к реке, весело покрикивая.

– Влезай ко мне, – предложил Алексей, сидя верхом на коньке крыши, горбун покорно полез, говоря:

– Наташа не испугалась бы.

– А ты не боишься, что Пётр набьёт тебе ещё горб?

За что? – тихо спросил Никита и услышал:

– Не пяль глаз на его жену.

Горбун долго не мог ответить ни слова, ему казалось, что он скользит с крыши и сейчас упадёт, ударится о землю.

– Что ты говоришь? Подумал бы, – пробормотал он.

– Ну, ладно, ладно! Вижу я... Не бойся, – сказал Алексей весело, как давно уже не говорил; он смотрел из-под ладони, как толстые языки огня, качаясь, волнуют тишину, заставляя её глухо гудеть, и оживлённо рассказывал:

– Это – Барские горят. У них, на дворе, бочек двадцать дёгтя. До соседей огонь не дойдёт, сады помешают.

«Бежать надо», – думал Никита, глядя вдаль, во тьму, разорванную огнём; там, в красноватом воздухе, стояли деревья, выкованные из железа, по красноватой земле суетливо бегали игрушечно маленькие люди, было даже видно, как они суют в огонь тонкие, длинные багры.

– Хорошо горит, – похваливал Алексей.

«В монастырь уйду», – думал горбун.

На дворе сонно и сердито ворчал Пётр, в ответ ему лениво плыли слова Тихона Вялова, и, точно в раме, в окне дома стояла, крестясь, Наталья.

Никита сидел на крыше до поры, пока на месте пожара-ща засверкала золотом гряда углей, окружая чёрные колонны печных труб. Потом он слез на землю, вышел за ворота и столкнулся с отцом, мокрым, выпачканным сажей, без картуза, в изорванной поддёвке.

– Куда? – необыкновенно яростно закричал отец, толкнув Никиту во двор, и, увидав белую фигуру Алексея на крыше, приказал ещё свирепей:

– Ты чего там торчишь? Слезь. Тебе, дураку, здоровье беречь надо...

Никита прошёл в сад, присел там на скамью под окном комнаты отца и вскоре услышал, как отец, сильно хлопнув дверью, вполголоса, но глухо спросил:

– Погубить себя хочешь? А меня срамом покрыть, а? Убью...

Визгливо ответил Алексей:

– Сам ты меня надоумил.

– Молчать! Моли бога, что тот негодяй языка лишён...

Никита встал и тихонько, но поспешно ушёл в угол сада, в беседку.

Утром, за чаем, отец рассказывал:

– Поджог; поджигатель оказался пьяница этот, часовщик. Избили его, наверно – помрёт. Разорил его Барский, что ли, да и на сына его, Стёпку, был он сердит. Дело тёмное.

Алексей спокойно пил молоко, а Никита, чувствуя, что у него трясутся руки, сунул их между колен и крепко зажал.

Отец, заметив его движение, спросил:

– Ты что ёжишься?

– Нездоровится.

– Всем вам нездоровится. А я вот здоров...

Сердито оттолкнув недопитый стакан чая, он ушёл.

Дело Артамонова быстро обрастало людьми; в двух верстах от фабрики, по холмам, покрытым вереском, среди редкого ельника, выстроились маленькие, приземистые хижины, без дворов, без плетней, издали похожие на ульи. Для одиноких и холостых рабочих Артамонов построил над неглубоким оврагом, руслом высохшей реки, имя которой забыто, длинный барак, с крышей на один скат, с тремя трубами на крыше, с маленькими, ради сохранения тепла, окнами; окна придавали бараку сходство с конюшней, и рабочие называли его – «Жеребьячий дворец». Илья Артамонов становился всё более хвастливо криклив, но заносчивости богача не приобретал, с рабочими держался просто, пировал у них на свадьбах, крестил детей, любил по праздникам беседовать со старыми ткачами, они научили его посоветовать крестьянам сеять лён по старопашням и по лесным пожогам, это оказалось очень хорошо. Старые ткачи восхищались податливым хозяином, видя в нём мужика, которому судьба милостиво улыбается, учили молодёжь:

– Смотрите, как дела крутить надо!

А Илья Артамонов учил детей:

– Мужики, рабочие – разумнее горожан. У городских –

плоть хилая, умишко трёпаный, городской человек жаден, а – не смел. У него всё выходит мелко, непрочно. Городские ни в чём точной меры не знают, а мужик крепко держит себя в пределах правды, он не мечется туда-сюда. И правда у него простая: бог, например, хлеб, царь. Он – весь простой, мужик, за него и держитесь. Ты, Пётр, сухо с рабочими говоришь и всё о деле, это – не годится, надобно уметь и о пустяках поболтать. Пошутить надо; весёлый человек лучше понятен.

– Шутить я не умею, – сказал Пётр и по привычке дёрнул себя за ухо.

– Учись. Шутка – минутка, а заряжает на час. Алексей тоже неловок с людьми, криклив, придирчив.

– Жулики они и лентяи, – задорно отозвался Алексей.

Артамонов строго крикнул:

– Много ли ты знаешь про людей? – Но улыбнулся в бороду и, чтоб не заметили улыбку, прикрыл её рукою; он вспомнил, как смело и разумно спорил Алексей с горожанами о кладбище: дрёмовцы не желали хоронить на своём погосте рабочих Артамонова. Пришлось купить у Помялова большой кусок ольховой рощи и устраивать свой погост.

– Погост, – размышлял Тихон Вялов, вырубая с Никитой тонкие, хилые деревья. – Не на своё место слова ставим. Называется – погост, а гостят тут века вечные. Погосты – это дома, города.

Никита видел, что Вялов работает легко и ловко, прояв-

ляя в труде больше разумности, чем в своих тёмных и всегда неожиданных словах. Так же, как отец, он во всяком деле быстро находил точку наименьшего сопротивления, берёт силу и брал хитростью. Но была ясно заметна и разница: отец за всё брался с жаром, а Вялов работал как бы нехотя, из милости, как человек, знающий, что он способен на лучшее. И говорил он так же: немного, милостиво, многозначительно, с оттенком небрежности, намекая:

– Я и ещё много знаю; и не то ещё могу сказать.

И всегда в его словах слышались Никите какие-то намёки, возбуждавшие в нём досаду на этого человека, боязнь пред ним и – острое, тревожное любопытство к нему.

– Много ты знаешь, – сказал он Вялову, тот не спеша ответил:

– Затем живу. Я знаю – это не беда, я для себя знаю. Моё знание спрятано у скупого в сундуке, оно никому не видимо, будь спокоен...

Не заметно было, чтоб Тихон выпрашивал людей о том, что они думают, он только назойливо присматривался к человеку птичьими, мерцающими глазами и, как будто высосав чужие мысли, внезапно говорил о том, чего ему не надо знать. Иногда Никите хотелось, чтоб Вялов откусил себе язык, отрубил бы его, как отрубил себе палец, – он и палец отрубил себе не так, как следовало, не на правой руке, а на левой, безымянный. Отец, Пётр и все считали его глупым, но Никите он не казался таким. У него всё росло сме-

шанное чувство любопытства к Тихону и страха пред этим скуластым, непонятным мужиком. Чувство страха особенно усилилось после того, как Вялов, возвращаясь с Никитой из леса, вдруг заговорил:

– А ты всё сохнешь. Ты б, чудака, сказал ей, может – пожалеет, она будто добрая.

Горбун остановился; у него от испуга замерло сердце, окаменели ноги, он растерянно забормотал:

– Про что сказать, кому?

Вялов, взглянув на него, шагнул дальше, Никита схватил его за рукав рубахи, тогда Тихон пренебрежительно отвёл его руку.

– Ну, зачем притворяешься?

Сбросив с плеча на землю выкопанную в лесу берёзу, Никита оглянулся, ему захотелось ударить Тихона по шершавому лицу, хотелось, чтоб он молчал, а тот, глядя вдаль, шурясь, говорил спокойно, как обыкновенное:

– А если она и не добра, так притвориться может на твой час. Бабы – любопытные, всякой хочется другого мужика попробовать, узнать – есть ли что слаще сахара? Нашему же брату – много ли надо? Раз, два – вот и сыт и здоров. А ты – сохнешь. Ты – попытайся, скажи, авось она согласится.

Никите послышалось в его словах чувство дружеской жалости; это было ново, неведомо для него и горьковато щипало в горле, но в то же время казалось, что Тихон раздевает, обнажает его.

– Ерунду придумал ты, – сказал он.

В городе звонили колокола, призывая к поздней обедне. Тихон встряхнул деревья на плече своём и пошёл, пристукивая по земле железной лопатой, говоря всё так же спокойно:

– Ты меня не опасайся. Я ведь жалею тебя, ты человек приятный, любопытный. Вы все, Артамоновы, страх как любопытные... Ты характером и не похож на горбатого, а ведь горбат.

Испуг Никиты растаял в горячей печали, от неё у него мутилось в глазах, он спотыкался, как пьяный, хотелось лечь на землю и отдохнуть; он тихонько попросил:

– Ты молчи об этом.

– Я сказал: как в сундуке заперто.

– Забудь. Ей не проговорись.

– Я с ней не говорю... Зачем с ней говорить?

И вплоть до дома оба шли молча. Синие глаза горбуна стали больше, круглее и печальней, он смотрел мимо людей, за плечи им, он стал ещё более молчалив и незаметен. Но Наталья заметила что-то:

– Ты что грустный ходишь? – спросила она, Никита ответил:

– Дела много, – и быстро отошёл прочь. Это обидело женщину, она не впервые чувствовала, что деверь не так ласков с нею, как прежде. Ей жилось скучно. За четыре года она родила двух девочек и уже снова ходила непорожной.

– Что ты всё девок родишь, куда их? – ворчал свёкор, ко-

гда она родила вторую, и не подарил ей ничего, а Петру жаловался:

– Мне внучат надо, а не зятьёв. Разве я для чужих людей дело затеял?

Каждое слово свёкра заставляло женщину чувствовать себя виноватой; она знала, что и муж недоволен ею. Ночами, лёжа рядом с ним, она смотрела в окно на далёкие звёзды и, поглаживая живот, мысленно просила:

«Господи, – сыночка бы...»

Но иногда ей хотелось крикнуть мужу и свёкру:

«Нарочно, назло вам буду девочек родить!»

И хотелось сделать что-то удивительное, неожиданное для всех – хорошее, чтоб все люди стали ласковее к ней, или злое, чтобы все они испугались. Но ни хорошего, ни плохого она не могла выдумать.

Вставая на рассвете, она спускалась в кухню и вместе с кухаркой готовила закуску к чаю, бежала вверх кормить детей, потом поила чаем свёкра, мужа, деверей, снова кормила девочек, потом шила, чинила бельё на всех, после обеда шла с детьми в сад и сидела там до вечернего чая. В сад заглядывали бойкие шпульницы, льстиво хвалили красоту девочек, Наталья улыбалась, но не верила похвалам, – дети казались ей некрасивыми.

Иногда между деревьев мелькал Никита, единственный человек, который был ласков с ней, но теперь, когда она приглашала его посидеть с нею, он виновато отвечал:

– Прости, время нет у меня.

У неё незаметно сложилась обидная мысль: горбун был фальшиво ласков с нею; муж приставил его к ней сторожем, чтоб следить за нею и Алексеем. Алексея она боялась, потому что он ей нравился; она знала: пожелай красавец деверь, и она не устоит против него. Но он – не желал, он даже не замечал её; это было и обидно женщине и возбуждало в ней вражду к Алексею, дерзкому, бойкому.

В пять часов пили чай, в восемь ужинали, потом Наталья мыла младенцев, кормила, укладывала спать, долго молилась, стоя на коленях, и ложилась к мужу с надеждой зачать сына. Если муж хотел её, он ворчал, лёжа на кровати:

– Будет. Ложись.

Торопливо крестясь, прерывая молитву, она шла к нему, покорно ложилась. Иногда, очень редко, Пётр шутил:

– Что много молишься? Всего себе не вымолишь, другим не хватит...

Ночью, разбуженная плачем ребёнка, покормив, успокоив его, она подходила к окну и долго смотрела в сад, в небо, без слов думая о себе, о матери, свёкре, муже, обо всём, что дал ей незаметно прошедший, нелёгкий день. Было странно не слышать привычных голосов, весёлых или заунывных песен работниц, разнообразных стуков и шорохов фабрики, её пчелиного жужжания; этот непрерывный, торопливый гул наполнял весь день, отзвуки его плавали по комнатам, шуршали в листве деревьев, ласкались к стёклам окон; шорох

работы, заставляя слушать его, мешал думать.

А в ночной тишине, в сонном молчании всего живого, вспоминались жуткие рассказы Никиты о женщинах, пленённых татарами, жития святых отшельниц и великомучениц, вспоминались и сказки о счастливой, весёлой жизни, но чаще всего память подсказывала обидное.

Свёкор смотрел на неё как на пустое место, и это ещё было хорошо, но нередко, встречаясь с нею в сенях или в комнате глаз на глаз, он бесстыдно щупал её острым взглядом от груди до колен и неприязненно всхрапывал.

Муж был сух, холоден, она чувствовала, что иногда он смотрит на неё так, как будто она мешает ему видеть что-то другое, скрытое за её спиной. Часто, раздевшись, он не ложился, а долго сидел на краю постели, упираясь в перину одною рукой, а другой дёргая себя за ухо или растирая бороду по щеке, точно у него болели зубы. Его некрасивое лицо морщилось то жалобно, то сердито, – в такие минуты Наталья не решалась лечь в постель. Говорил он мало, только о домашнем и лишь изредка, всё реже, вспоминал о крестьянской, о помещичьей жизни, непонятной Наталье. Зимой в праздники, на святках и на масленице, он возил её кататься по городу; запрягали в сани огромного вороного жеребца, у него были жёлтые, медные глаза, исчерченные кровавыми жилками, он сердито мотал башкой и громко фыркал, – Наталья боялась этого зверя, а Тихон Вялов ещё более напугал её, сказав:

– Дворянский конь, зол на чужую власть.

Часто приходила мать; Наталья завидовала её свободной жизни, праздничному блеску её глаз. Эта зависть становилась ещё острее и обидней, когда женщина замечала, как молодод шутит с матерью свёкор, как самодовольно он поглаживает бороду, любуясь своей сожительницей, а она ходит павой, покачивая бёдрами, бесстыдно хвастаясь пред ним своей красотой. Город давно знал о её связи со сватом и, строго осудив за это, отшатнулся от неё, солидные люди запретили дочерям своим, подругам Натальи, ходить к ней, дочери порочной женщины, снохе чужого, тёмного мужика, жене надутого гордостью, угрюмого мужа; маленькие радости девичьей жизни теперь казались Наталье большими и яркими.

Обидно было видеть, что мать, такая прямодушная раньше, теперь хитрит с людьми и фальшивит; она, видимо, боится Пётра и, чтоб он не замечал этого, говорит с ним льстиво, восхищается его деловитостью; боится она, должно быть, и насмешливых глаз Алексея, ласково шутит с ним, перешёптывается о чём-то и часто делает ему подарки; в день именин подарила фарфоровые часы с фигурками овец и женщиной, украшенной цветами; эта красивая, искусно сделанная вещь всех удивила.

– За долг у меня остались часы, всего за три целковых, старинные они, не ходят, – объяснила мать. – Когда Алёша женится, – дом свой украсит...

«И я бы украсила», – подумалось Наталье.

Мать подробно расспрашивала о хозяйстве, скучно поучала:

– По будням салфеток к столу не давай, от усов, от бород салфетки сразу пачкаются.

На Никиту, который прежде нравился ей, она смотрела поджимая губы, говорила с ним, как с приказчиком, которого подозревают в чём-то нечестном, и предупреждала дочь:

– Ты смотри, не очень привечай его, горбатые – хитрые.

Не один раз Наталья хотела пожаловаться матери на мужа за то, что он не верит ей и велел горбуну сторожить её, но всегда что-то мешало Наталье говорить об этом.

Но всего хуже, когда мать, тоже обеспокоенная тем, что Наталья не может родить мальчика, расспрашивает её о ночных делах с мужем, расспрашивает бесстыдно, неприкрыто, её влажные глаза, улыбаясь, щурятся, пониженный голос мурлыкает, любопытство её тяжело волнует, и Наталья рада слышать вопрос свёкра:

– Сватья, – лошадь запрячь?

– Я бы лучше пешечком прошлась.

– Ладно; я тебя провожу.

Муж задумчиво говорит:

– Умный человек тёща; ловко она отца держит. При ней он мягче с нами. Ей бы дом свой продать да к нам перебраться.

«Не надо этого», – хочет сказать Наталья, но – не смеет и ещё больше обижается на мать за то, что та любима и счастлива.

Сидя у окна в сад или в саду с шитьём в руках, она слышит отрывки беседы Тихона с Никитой, они возятся за ягодником у бани, и, сквозь мягкий шумок фабрики, просачиваются спокойные слова дворника.

– Скука – от людей; скучатся они в кучу, и начинается скука.

«Как верно!» – думает Наталья, но приятный голос Никиты увещевает:

– Заговариваешься ты. А – хороводы, игры? Без людей – веселья нет.

«И это верно», – удивляясь, соглашается женщина.

Она видит, что все вокруг её говорят уверенно, каждый что-то хорошо знает, она именно видит, как простые твёрдые слова, плотно пригнанные одно к другому, отгораживают каждому человеку кусок какой-то крепкой правды, люди и отличаются словами друг от друга и украшают себя ими, побрякивая, играя словами, как золотыми и серебряными цепочками своих часов. У неё нет таких слов, ей не во что одеть свои думы, и, неуловимые, мутные, как осенний туман, они только тяготят её, она тупеет от них, всё чаще думая с тоской и досадой:

«Глупа я, ничего не знаю, не понимаю...»

– Медведь значит – ведун, ведаёт, где мёд, – бормочет Тихон в кустах малины.

«Так и есть», – думает Наталья и, вздрогнув, вспоминает, как Алексей убил её любимца: до тринадцати месяцев

медведь бегал по двору, ручной и ласковый, как собака, влезал в кухню и, становясь на задние ноги, просил хлеба, тихонько урча, мигая смешными глазами. Он был весь смешной, добрый и понимающий доброту. Его все любили, Никита ухаживал за ним, расчёсывая комья густой, свалявшейся шерсти, водил его купать в реку, и медведь так полюбил его, что, когда Никита уходил куда-либо, зверь, подняв морду, тревожно нюхал воздух, фыркая, бегал по двору, ломился в контору, комнату своего пестуна, неоднократно выдавливал стёкла в окне, выламывал раму. Наталья любила кормить его пшеничным хлебом с патокой, он сам научился макать куски хлеба в чашку патоки; радостно рыча, покачиваясь на мохнатых ногах, совал хлеб в розовую, зубастую пасть, обсасывал липкую, сладкую лапу, его добродушные глазёнки счастливо сияли, и он тыкал башкой в колени Натальи, вызывая её играть с ним. С этим милым зверем можно было говорить, он уже что-то понимал.

Но однажды Алексей напоил его водкой, пьяный медведь плясал, кувыркался, залез на крышу бани и, разбирая трубу, стал скатывать кирпичи вниз; собралась толпа рабочих и хохотала, глядя на него. С того дня почти каждый праздник Алексей, на потеху людям, стал поить медведя, и зверь так привык пьянствовать, что гонялся за всеми рабочими, от которых пахло вином, и не давал Алексею пройти по двору без того, чтоб не броситься к нему. Его посадили на цепь, но он разломал свою конуру и с цепью на шее, с бревном на другом

конец её, стал ходить по двору, размахивая лапами, мотая башкой. Его хотели поймать, он оцарапал ногу Тихона, сбил с ног молодого рабочего Морозова и ушиб Никиту, хватив его лапой по бедру. Тогда прибежал Алексей с рогатиной, он с разбега воткнул её в живот зверя, Наталья видела из окна, как медведь осел на задние ноги и замахал лапами, он как бы прощения просил у людей, разъярённо кричавших вокруг его. Кто-то угодливо сунул в руки Алексея острый, плотничный топор, припрыгивая, остробородый деверь ударил его по лапе, по другой, медведь рывкнул, опустился на изрубленные лапы, из них направо и налево растекалась кровь, образуя на утопанной земле густо-красные пятна. Жалобно рыча, зверь подставил голову под новый удар топора, тогда Алексей, широко раскорячив ноги, всадил топор в затылок медведя, как в полено, медведь ткнулся мордой в кровь свою, а топор так глубоко завяз в костях, что Алексей, упираясь ногою в мохнатую тушу, едва мог вырвать топор из черепа. Жалко было медведя, но ещё более было жалко знать, что бесстрашный, ловкий, весёлый озорник деверь путается с какой-то ничтожной девчонкой, а её, Наталью, не видит.

Деверя все хвалили за ловкость, за храбрость, свёкор, похлопывая его по плечу, кричал:

– А – говоришь – больной? Ах ты...

Никита убежал со двора, а Наталья так плакала, что муж удивлённо и с досадой спросил её:

– Ну, а если человека убьют при тебе, что ж ты тогда бу-

дешь делать?

И, как на маленькую, крикнул:

– Перестань, дура!

Ей показалось, что он хочет ударить, и, сдерживая слёзы, она вспомнила первую ночь с ним, – какой он был тогда сердечный, робкий. Вспомнила, что он ещё не бил её, как бьют жён все мужья, и сказала, сдерживая рыдания:

– Прости, жалко очень.

– Жалеть надо меня, а не медведя, – ответил он негромко и уже ласковее.

Когда она впервые пожаловалась матери на суровость мужа, та, памятно, сказала ей:

– Мужик – пчела; мы для мужика – цветы, он с нас мёд собирает, это надо понимать, надо учиться терпеть, милок. Мужики – всем владычат, у них забот больше нашего, они вон строят церкви, фабрики. Ты гляди, что свёкор-то на пустом месте настроил...

Илья Артамонов всё более бешено торопился развить и укрепить своё дело, он как будто предчувствовал, что срок его – не велик. В мае, незадолго до Николина дня<sup>13</sup>, прибыл для второго корпуса фабрики паровой котёл, его привезли на барке, причалившей к песчаному берегу Оки там, где в неё лениво втекала болотная вода зелёной Ватаракши. Предстояла трудная работа: котёл надо было тащить сажень полтора-та по песчаному грунту. В Николин день Артамонов устро-

---

<sup>13</sup> 9 мая по старому стилю – *Ред.*

ил для рабочих сытный, праздничный обед с водкой, брагой; столы были накрыты на дворе, бабы украсили его ветками елей, берёз, пучками первых цветов весны и сами нарядились пёстро, как цветы. Хозяин с семьёй и немногими гостями сидел за столом среди старых ткачей, солоно шутил с дерзкими на язык шпульницами, много пил, искусно подзадоривал людей к веселью и, распахивая рукою поседевшую бороду, кричал возбуждённо:

– Эх, ребята! Али не живём?

Им, его повадкой любовались, он чувствовал это и ещё более пьянел от радости быть таким, каков есть. Он сиял и сверкал, как этот весенний, солнечный день, как вся земля, нарядно одетая юной зеленью трав и листьев, дымившаяся запахом берёз и молодых сосен, поднявших в голубое небо свои золотистые свечи, – весна в этом году была ранняя и жаркая, уже расцветала черёмуха и сирень. Всё было празднично, всё ликовало; даже люди в этот день тоже как будто расцвели всем лучшим, что было в них.

Древний ткач Борис Морозов, маленький, хилый старичок, с восковым личиком, уютно спрятанным в седой, позеленевшей бороде, белый весь и вымытый, как покойник, встал, опираясь о плечо старшего сына, мужика лет шестидесяти, и люто кричал, размахивая костяной, без мяса, рукою:

– Смотрите, – девяносто лет мне, девяносто с лишком, на-те-ко! Солдат, Пугача бил, сам бунтовал в Москве, в чумной год, да-а! Бонапарта бил...

– А ласкал кого? – кричал Артамонов в ухо ему, – ткач был глух.

– Двух жён, кроме прочих. Гляди: семь парней, две дочери, девятнадцать внучат, пятеро правнуков, – эхо наткал! Вон они, все у тебя живут, вона – сидят...

– Давай ещё! – кричал Илья.

– Будут. Трёх царей да царицу пережил – нате-ко! У скольких хозяев жил, все примёрли, а я – жив! Вёрсты полотен наткал. Ты, Илья Васильев, настоящий, тебе долго жить. Ты – хозяин, ты дело любишь, и оно тебя. Людей не обижаешь. Ты – нашего дерева сук, – катый! Тебе удача – законная жена, а не любовница: побаловала да и нет её! Катай во всю силу. Будь здоров, брат, вот что! Будь здоров, говорю...

Артамонов схватил его на руки, приподнял, поцеловал, растроганно крича:

– Спасибо, робёнок! Я тебя управляющим сделаю...

Люди орали, хохотали, а старый, пьяненький ткач, высоко поднятый над ними, потрясал в воздухе руками скелета и хихикал визгливо:

– У него – всё по-своему, всё не так...

Ульяна Баймакова, не стыдясь, вытирала со щёк слёзы умиления.

– Сколько радости, – сказала ей дочь, она, сморкаясь, ответила:

– Такой уж человек, на радость и создан господом...

– Учись, ребята, как надо с людьми жить, – кричал Арта-

монов детям. – Гляди, Петруха!

После обеда, убрав столы, бабы завели песни, мужики стали пробовать силу, тянулись на палке, боролись; Артамонов, всюду поспевая, плясал, боролся; пировали до рассвета, а с первым лучом солнца человек семьдесят рабочих во главе с хозяином шумной ватагой пошли, как на разбой, на Оку, с песнями, с посвистом, хмельные, неся на плечах толстые катки, дубовые рычаги, верёвки, за ними ковылял по песку старенький ткач и бормотал Никите:

– Он своего добьётся! Он? Я зна-аю...

Благополучно сгрузили с барки на берег красное тупое чудовище, похожее на безголового быка; опутали его верёвками и, ухая, рыча, дружно повезли на катках по доскам, положенным на песок; котёл покачивался, двигаясь вперёд, и Никите казалось, что круглая, глупая пасть котла развёрзлась удивлённо перед весёлой силою людей. Отец, хмельной, тоже помогал тащить котёл, напряжённо покрикивая:

– Потише, эй, потише!

И, хлопая ладонью по красному боку железного чудовища, приговаривал:

– Пошёл котёл, пошёл!

Меньше полусотни сажен осталось до фабрики, когда котёл покачнулся особенно круто и не спеша съехал с переднего катка, ткнувшись в песок тупой мордой, – Никита видел, как его круглая пасть дохнула в ноги отца серой пылью. Люди сердито облепили тяжёлую тушу, пытаясь подсунуть

под неё каток, но они уже выдохлись, а котёл упрямо влип в песок и, не уступая усилиям их, как будто зарывался всё глубже. Артамонов с рычагом в руках возился среди рабочих, покрикивая:

– Молодчики, берись дружней! О-ух...

Котел нехотя пошевелился и снова грузно осел, а Никита увидал, что из толпы рабочих вышел незнакомой походкой отец, лицо у него было тоже незнакомое, шёл он, сунув одну руку под бороду, держа себя за горло, а другой щупал воздух, как это делают слепые; старый ткач, припрыгивая вслед за ним, покрикивал:

– Земли поешь, земли...

Никита подбежал к отцу, тот, икнув, плюнул кровью под ноги ему и сказал глухо:

– Кровь.

Лицо его посерело, глаза испуганно мигали, челюсть тряслась, и всё его большое, умное тело испуганно сжалось.

– Ушибся? – спросил Никита, схватив его за руку, – отец пошатнулся на него, толкнул и ответил негромко:

– Пожалуй, – жила лопнула...

– Земли поешь, говорю...

– Отстань, – уйди!

И, снова обильно плюнув кровью, Артамонов пробормотал с недоумением:

– Текёт. Где Ульяна?

Горбун хотел бежать домой, но отец крепко держал его

за плечо и, наклонив голову, шаркал по песку ногами, как бы прислушиваясь к шороху и скрипу, едва различимому в сердитом крике рабочих.

– Что такое? – спросил он и пошёл к дому, шагая осторожно, как по жёрдочке над глубокой рекою. Баймакова прощалась с дочерью, стоя на крыльце, Никита заметил, что, когда она взглянула на отца, её красивое лицо странно, точно колесо, всё повернулось направо, потом налево и поблекло.

– Льду давайте, – закричала она, когда отец, неумело подогнув ноги, опустился на ступень крыльца, всё чаще икая и сплёвывая кровь. Как сквозь сон, Никита слышал голос Тихона:

– Лёд – вода; водой крови не заменить...

– Земли пожевать надо...

– Тихон, скачи за попом...

– Поднимайте, несите, – командовал Алексей; Никита подхватил отца под локоть, но кто-то наступил на пальцы ноги его так сильно, что он на минуту ослеп, а потом глаза его стали видеть ещё острее, запоминая с болезненной жадностью всё, что делали люди в тесноте отцовской комнаты и на дворе. По двору скакал Тихон на большом чёрном коне, не в силах справиться с ним; конь не шёл в ворота, прыгал, кружился, вскидывая злую морду, разгоняя людей, – его, должно быть, пугал пожар, ослепительно зажжённый в небе солнцем; вот он, наконец, выскочил, поскакал, но перед красной массой котла шархнулся в сторону, сбросив Тихона, и воз-

вратился во двор, храпя, взмахивая хвостом.

Кто-то кричит:

– Мальчишки, бегом...

На подоконнике, покручивая тёмную, острую бородку, сидит Алексей, его нехорошее, немужицкое лицо заострилось и точно пылью покрыто, он смотрит, не мигая, через головы людей на постель, там лежит отец, говоря не своим голосом:

– Значит – ошибся. Воля божия. Ребята – приказываю: Ульяна вам вместо матери, слышите? Ты, Уля, помоги им, Христа ради... Эх! Вышлите чужих из горницы...

– Молчи ты, – протяжно и жалобно стонет Баймакова, всовывая в рот ему кусочки льда. – Нет здесь чужих.

Отец глотает лёд и, нерешительно вздыхая, говорит:

– Греху моему вы не судьи, а она не виновата. Наталья, су-ров я был с тобой, ну, ничего. Мальчишек! Петруха, Олёша – дружно живите. С народом поласковой. Народ – хороший. Отборный. Ты, Олёша, женись на этой, на своей... ничего!

– Батюшка – не оставляй нас, – просит Пётр, опускаясь на колени, но Алексей толкает его в спину, шепчет:

– Что ты? Не верю я...

Наталья рубит кухонным ножом лёд в медном тазу, хрустящие удары сопровождается лязг меди и всхлипывания женщины. Никите видно, как её слёзы падают на лёд. Жёлтенький луч солнца проник в комнату, отразился в зеркале и бесформенным пятном дрожит на стене, пытаюсь стереть фигуры красных, длинноусых китайцев на синих, как ночное

небо, обоях.

Никита стоит у ног отца, ожидая, когда отец вспомнит о нём. Баймакова то расчёсывает гребнем густые, курчавые волосы Ильи, то оттирает салфеткой непрерывную струйку крови в углу его губ, капли пота на лбу и на висках, она что-то шепчет в его помутневшие глаза, шепчет горячо, как молитву, а он, положив одну руку на плечо ей, другую на колено, отяжелевшим языком ворочает последние слова:

– Знаю. Спаси тебя Христос. Хороните на своём, на нашем кладбище, не в городе. Не хочу там, ну их...

И с великой кипящей тоскою он шептал:

– Эх, ошибся я, господи... Ошибся...

Пришёл высокий, сутулый священник с Христовой бородкой и грустными глазами.

– Погоди, батя, – сказал Артамонов и снова обратился к детям:

– Ребята – не делитесь! Живите дружно. Дело вражды не любит. Пётр, – ты старший, на тебе ответ за всё, слышишь? Уходите...

– Никита, – напомнила Баймакова.

– Никиту – любите. Где он? Идите... После... И Наталья...

Он умер, истёк кровью после полудня, когда солнце ещё благостно сияло в зените. Он лежал, приподняв голову, нахмурия восковое лицо, оно было озабочено, и неплотно приоткрытые глаза его как будто задумчиво смотрели на широкие

кисти рук, покорно сложенных на груди.

Никите казалось, что все в доме не так огорчены и напуганы этой смертью, как удивлены ею. Это тупое удивление он чувствовал во всех, кроме Баймаковой, она молча, без слёз сидела около усопшего, точно замёрзла, глухая ко всему, положив руки на колени, неотрывно глядя в каменное лицо, украшенное снегом бороды.

Пётр вытянулся, говорил излишне и неуместно громко, входя в комнату, где лежал отец и, попеременно с Никитой, толстая монахиня выпевала жалобы псалтыря; Пётр вопросительно заглядывал в лицо отца, крестился и, минуты две-три постояв, осторожно уходил, потом его коренастая фигура мелькала в саду, на дворе, и казалось, что он чего-то ищет.

Алексей хлопотливо суетился, устраивая похороны, гонял лошадь в город, возвращался оттуда, вбегал в комнату, спрашивал Ульяну о порядке похорон, о поминках.

– Погоди, – говорила она, и Алексей исчезал, потный, усталый. Приходила Наталья, робко и жалостливо предлагала матери выпить чаю, поесть; внимательно выслушав её, мать говорила:

– Погоди.

Никита при жизни отца не знал, любит ли его, он только боялся, хотя боязнь и не мешала ему любоваться воодушевлённой работой человека, неласкового к нему и почти не замечавшего – живёт ли горбатый сын? Но теперь Никите казалось, что он один по-настоящему, глубоко любил от-

ца; он чувствовал себя налитым мутной тоскою, безжалостно и грубо обиженным этой внезапной смертью сильного человека; от этой тоски и обиды ему даже дышать трудно было. Он сидел в углу, на сундуке, ожидая своей очереди читать псалтырь, мысленно повторял знакомые слова псалмов и оглядывался. Тёплый сумрак наполнял комнату, в нём колебались жёлтенькие, живые цветы восковых свечей. По стенам фокусно лепились длинноусые китайцы, неся на коромыслах цибики чая, на каждой полосе обоев было восемнадцать китайцев по два в ряд, один ряд шёл к потолку, а другой опускался вниз. На стену падал масляный свет луны, в нём китайцы были бойчее, быстрее шли и вверх, и вниз.

Вдруг сквозь однотонный поток слов псалтыря Никита услышал негромкий настойчивый вопрос:

– Да неужто – помер? Господи?

Это спросила Ульяна, и голос её прозвучал так поражающе горестно, что монахиня, прервав чтение, ответила виновато:

– Умер, матушка, умер, по воле божией...

Стало совершенно невыносимо, Никита поднялся и шумно вышел из комнаты, унося нехорошую, тяжёлую обиду на монахиню.

У ворот, на скамье, сидел Тихон; отламывая пальцами от большой щепы маленькие щепочки, он втыкал их в песок и ударами ноги загонял их глубже, так, что они становились не видны. Никита сел рядом, молча глядя на его работу; она ему

напоминала жуткого городского дурачка Антонушку: этот лохматый, тёмнолицый парень, с вывороченной в колене ногою, с круглыми глазами филина, писал палкой на песке круги, возводил в центре их какие-то клетки из щепочек и прутьев, а выстроив что-то, тотчас же давил свою постройку ногою, затирая песком, пылью и при этом пел гнусаво:

Хиристос воскиресе, воскиресе!

Кибитка потерял колесо.

Бутырма, бай, бай, бустарма,

Баю, баю, бай, Хиристос.

– Дело-то какое, а? – сказал Тихон и, хлопнув себя по шее, убил комара; вытер ладонь о колено, поглядел на луну, зацепившуюся за сучок ветлы над рекою, потом остановил глаза свои на мясистой массе котла.

– Рано в этом году комар родился, – спокойно продолжал он. – Да, вот комар – живёт, а...

Горбун, чего-то боясь, не дал ему кончить, сердито напомнив:

– Да ведь ты убил комара.

И поспешно ушёл прочь от дворника, а через несколько минут, не зная, куда девать себя, снова явился в комнате отца, сменил монахиню и начал чтение. Вливая в слова псалмов тоску свою, он не слышал, когда вошла Наталья, и вдруг за спиной его раздался тихий плеск её голоса. Всегда, когда она была близко к нему, он чувствовал, что может сказать

или сделать нечто необыкновенное, может быть, страшное, и даже в этот час боялся, что помимо воли своей скажет что-то. Нагнув голову, приподняв горб, он понизил сорвавшийся голос, и тогда, рядом со словами девятой кафизмы, потекли всхлипывающие слова двух голосов.

– Вот – крест нательный сняла с него, буду носить.

– Мама, родная, ведь и я тоже одна.

Никита снова поднял голос, чтоб заглушить, не слышать этот влажный шёпот, но всё-таки вслушивался в него.

– Не стерпел господь греха...

– В чужом гнезде, одна...

– «Камо гряду от лица твоего и от гнева твоего камо бе-гу?» – старательно выпевал Никита вопль страха, отчаяния, а память подсказывала ему печальную поговорку: «Не любя жить – горе, а полюбишь – вдвое», и он смущённо чувствовал, что горе Натальи светит ему надеждой на счастье.

Утром из города приехали на дрожках Барский и городской голова Яков Житейкин, пустоглазый человек, по прозвищу Недожаренный, кругленький и действительно сделанный как бы из сырого теста; посетив усопшего, они поклонились ему, и каждый из них заглянул в потемневшее лицо боязливо, недоверчиво, они, видимо, тоже были удивлены гибелью Артамонова. Затем Житейкин кусающим, едким голосом сказал Петру:

– Слышно, будто хотите вы схоронить родителя на своём кладбище, так ли, нет ли? Это, Пётр Ильич, нам, городу, оби-

да будет, как будто вы не желаете знать ся с нами и в дружбе жить не согласны, так ли, нет ли?

Скрипнув зубами, Алексей шепнул брату:

– Гони их!

– Кума, – гудел Барский, налезая на Ульяну. – Как же это?

Обидно!

Житейкин допрашивал Петра:

– Это не поп ли Глеб насоветовал вам? Нет, вы это отмените, батюшка ваш первый фабрикант по уезду, зачинатель нового дела, – лицо и украшение города. Даже исправник удивляется, спрашивал: православные ли вы?

Он говорил непрерывно, не замечая попыток Петра прервать его речь, а когда Пётр сказал, наконец, что такова воля родителя, Житейкин сразу успокоился.

– Так ли, нет ли – хоронить мы приедем.

И всем стало ясно, что он не за тем явился, о чём говорил. Он отправился в угол комнаты, где Барский, прижав Ульяну к стене, что-то бормотал ей, но раньше чем Житейкин успел подойти к ним, Ульяна крикнула:

– Дурак ты, кум, уйди!

У неё дрожали губы и брови, заносчиво подняв голову, она сказала Петру:

– Эти двое и Помялов с Воропоновым просят меня уговорить вас, братьев, продать им фабрику, деньги мне дают за помощь...

– Уйдите... господа! – сказал Алексей, указывая на дверь.

Покашливая, улыбаясь, Житейкин направил Барского к двери, толкая его под локоть, а Баймакова, опустясь на сундук, заплакала, жалуясь:

– Память о человеке хотят стереть...

Алексей, глядя на лицо Артамонова, сказал торжественно и зло:

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.